



Шмелёв И. В.

История села Мотовилово
Дневник
(тетрадь 15)
1930 г.

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

**Иван Васильевич Шмелев
Александр Юрьевич Шмелев
История села Мотовилово.
Тетрадь 15. Колхоз**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70045078

SelfPub; 2023

Аннотация

Более 50 лет Шмелев Иван Васильевич писал роман об истории родного села. Иван Васильевич начинает свое повествование с 20-х годов двадцатого века и подробнейшим образом описывает достопримечательности родного села, деревенский крестьянский быт, соседей и родственников, события и природу родного края. Роман поражает простотой изложения, безграничной любовью к своей родине и врождённым чувством достоинства русского крестьянина.

Содержание

1930 год. Колхоз, власти, мельницы	4
Святки. Серёга и Анисья	11
Лишенцы, Федька. Расточитель в бегах	31
Проруби. Твёрдое задание. Раскулачивание.	35
Пашня. Колькины стишки	50
Первый трактор	59
Возвращение Саньки. Снова с Наташкой	63
Пожары в Чернухе и в Мотовилове	68
Пашня на Окискином поле, рассуждения о колхозе	73
Троица и забавы. Санька и петух. Николай Ершов	81
Возвращение Федьки, его знакомство с Дуней	85
Федька и Крым. Разлад с Дуней	94
Ванькина пашня. Николай Ершов плотник	104
Сенокос	117

Иван Шмелев

История села Мотовилово.

Тетрадь 15. Колхоз

1930 год. Колхоз, власти, мельницы

Накануне нового 1930 года вечером. Придя с озера, где Василий Ефимович по найму чистил общественные проруби и подойдя к настенному календарю с намерением оторвать последний листок прошедшего 1929 года и на это место повесить новый календарь на 1930 год, он дрожащей от волнения и ещё немощной от холода рукой несколько раз порывался ухватить плотно прилипший к картонной личинке листок с числом «31-е декабря» и днём недели «вторник». Раздражённо царапнув ногтями по личинке, наконец-то он подцепил листок и с нескрываемой досадой сдёрнул его с места, предзнаменательно проговорив: «Ну, быть в новом году какому-то перелому!» Слова Василия Ефимовича оказались пророческими. В действительности 1930 год оказался годом великого перелома, как в его личной жизни, так и вообще в жизни русского крестьянства.

Центральная власть в Москве приняла решение во что

бы то ни стало объединить крестьянские хозяйства в колхоз, обобществив их собственность: тягловую силу, инвентарь и семена. Упирающихся, не желающих идти в колхоз – давить налогами, а сопротивляющихся – силой выселять на «Соловки». Сверху донизу, верховными органами власти всем нижестоящим властям даны твёрдые указания применять строгие, ничем не ограниченные меры и способы в проведении этого охватывающего всю страну важнейшего государственного мероприятия.

Прежде всего, всех сельских жителей разбили на три категории: бедняк, середняк и кулак. В деле околлективизирования крестьян власти взяли весь упор на бедняка; постольку-поскольку бедняки первыми пошли в колхоз (им терять-то нечего, середняки же, раздумывая, решили посмотреть, понаблюдать на колхозную жизнь со стороны: понравится – пойдём, а не понравится – подождём!). А кулаки и зажиточная часть села, видя в колхозе не совсем заманчивое дело, решили сопротивляться.

Всю зиму, вплоть до самой весны, народ частенько собирали в избу-читальню на собрания, на которых представители уездной власти, приезжающие из Арзамаса, проводили беседы с мужиками, разъясняя пользу перехода крестьян от единоличного ведения хозяйства к коллективному: выполняя директивные указания свыше, всеми силами агитировали за колхоз. Наряду с собраниями, на которых старательно

«затаскивали» середняка в колхоз, проводились собрания о раскулачивании кулаков и торговцев и об обложении твёрдым заданием мельников и зажиточных крестьян села. Под твёрдое задание попали также и хозяйства, в которых имели молотилки, веялки, сеялки и прочие простые сельскохозяйственные машины. Особенное рвение в обложении налогами, как денежными, а также и хлебом в зерне, проявлял всё тот же колченогий Александров: от его орлиного взора не скрылось ни одно зажиточное хозяйство села, поблажек он никому не давал.

Но несмотря на старательный зазыв в колхоз середняков, в него записались только одни бедняки, у которых в личных хозяйствах ни лошади, ни добротного инвентаря, и дело было говорено: «Вступая в колхоз, беднякам терять нечего!».

В колхоз записалось 17 хозяйств, вот они:

1. Бурлаков Михаил Васильевич (пред. с/совета)
2. Слигузов Степан – активист
3. Купряхин Михаил Андреевич (Грепа) – активист
4. Селиванов Семион (беспросветный бедняк)
5. Захарова Дунька (безлошадница)
6. Санька Лунькин – активист
7. Оглоблин Кузьма – карьерист
8. Владыкина Пелагея – активистка
9. Серяков Иван Иванович – карьерист
10. Маркелов Сергей Иванович – активист

11. Лобанова Мария Ивановна – беднячка
12. Лаптев Александр Павлович – активист
13. Буров Дмитрий Иванович – активист
14. Садов Михаил Ст. – активист
15. Садов Сергей Ст. – активист
16. Улётов Василий – активист
17. Улётов Григорий – активист.

Итак, в колхоз объединилось 17 маломощных хозяйств, в которых оказалось всего две лошади и кое-какой инвентарь. Про то бурное собрание, на котором организовался колхоз, люди села долго вспоминали о нём, и посему немало толков было о таком событии, какового не было во всей истории жизни русского крестьянства. На этот счёт сельский специалист по складыванию зарифмованных прибауток, Колька Купряхин, сложил про колхоз такой стишок: «Грязь и навоз собрались в колхоз!». О самом том собрании бабы, ходившие на озеро за водой, собравшись, как овцы в гурты, снедаемые желанием поделиться о такой невиданной и неслыханной новости, забыв о делах, подолгу судачили на улицах, переулках и закоулках. Перемещая коромысла с плеча на плечо, каждая старалась вернуть своё мнение о колхозе, о том, как в нём будут жить совместно и мужики, и бабы под одним одеялом. «Недаром туда Дунька-то Захарова записалась!» – язвили бабы. От удивления и предрассудков бабы всплёскивали руками, взволнованно ударяя ладонями по коленкам, дружно и весело смеялись, закатывались от ядрёного хохота.

– А я было тогда хотела послушать, что на собрании-то ба-
ют, подошла к избе-читальне, а там народу внабой набилось,
как чертей в сумку, и носа даже в дверь не просунешь, я-да
дралова оттудова, провалились вся изба-читальня! Больше не
пойду! – хвасталась перед бабами резвая на язык Устинья.

О Дуньке Захаровой, о том, что она одна из первых запи-
салась в колхоз, Фёдор Крестьянников изрёк так:

– Конечно, там всякие люди нужны будут: и руководители,
и трутни, и бабы, «обслуживающие» их, а особенно нужны
будут там труженики, т.е. рабочие пчёлы, которые должны
будут обрабатывать трутней и прочих прихлебателей-при-
хвостней!

Кузьму Оглоблина в колхоз, видимо, потянуло то, что там
дело будет похлебнее, не будет он пристально трудиться там,
хотя и прикидывается он каким-то социалистом.

– А какой же, хрен, из него социалист, когда он старается
только побольше бы себе заработать, да за счёт людей пожи-
виться! – пророчески и разносно отозвался Фёдор о Кузьме.

Василий Ефимович в беседе с кумом Митрием о колхозе
высказал своё мнение вполне резонно и кратко:

– По-моему, колхоз – гиблое дело, провальная яма: од-
ни будут не покладая рук трудиться, а другие за их счёт бу-
дут жиреть! И зачем правителям спонадобилось нашу само-
бытную жизнь нарушать и переделывать её по своему вку-
су! Торговля свёртывается, маслобойку нарушают, мельни-
цы отбирают. И на чём только рожь молоть будем? – пожа-

ловался он перед Митрием, человеком предугадательным. – Что ты, меленка, не мелешь, или крылышки болят? Я бы рада, помолола – коммунисты не велят!

– Ты, Василий Ефимович, говоришь, где молоть-то будем, а молоть-то вовсе и нечего будет, такое время придёт, поверь моему слову! – разочаровал его Митрий.

– Выходит, ешь, пока естся! – многозначительно заметил Василий.

– Ведь они, товарищи-то, обещают народу-то «светлое будущее»! – привёл слова Василий из газеты «Молодая рать», выписываемой Санькой.

– Это только на бумаге, на деле будет иное! – пояснил ему Митрий. – Видимо, товарищи не велят мужику-крестьянину полезным делом заниматься и честно трудиться на пользу народу. Взять хотя бы тех же мельников: ведь они, не считаясь с собой, день и ночь корпели в своих мельничных грязных избёнках, мололи, старались убогатворить нужду народа. А вон Рыбочкины: в прошлом году весной Коленька Смирнов спалил их водяную мельницу, так они её вновь отстроили, торговлю свою прикрыли, теперь мелют. Дедушка Рыбочёк с мельницы домой только раз в неделю по субботам в баню наведывается: знай бежит в лес на мельницу, по летам обязательно босиком семенит, – высказался Василий перед Митрием.

– Эту водяную мельницу в колхоз не отберут, потому что она общественная, вот на ней мы и будем молоть рожь, если,

конечно, она у нас окажется в наличии, а ветряные мельницы, пожалуй, все в колхоз отойдут: вон у Додоновых и Капустиных их уж, кажется, отобрали! – пояснил Митрий.

– Да, пожалуй, и кузницы-то скоро колхозными станут, в колхозе без кузницы как без рук. Недаром на дверях у кузницы-то висит странная надпись: «Вчера работали даром, сегодня – за деньги, завтра будем в долг!» – с невесёлой улыбкой проговорил Василий.

– То-то и оно-то! – отозвался Митрий.

Беседу завершил Василий рассуждением о власти:

– Да, – сказал он, – видимо наши властители решили лишить нас волюшки и заставить нас жить не как мы хотим, а как товарищам замыслится. Да и самих властителей-то у нас в расеюшке уж больно много развелось: бывало, был один Царь – глава всего государства, теперь партия верховодит над всем народом. Бывало, в Нижнем Новгороде губернатор управлял целой губернией, а в уезде, в Арзамасе, был земский начальник, он правил всем уездом, в волости-то был старшина, который вдвоём с писарем управлял целой волостью, а в селе-то один староста справлялся со всеми общественными делами. А теперь этих управителей поразвелось в одном сельском совете три стола, и за каждым сидит начальник, а теперь вот в селе появился колхоз, в нём тоже, наверно, начальников немало будет!

Святки. Серёга и Анисья

Прошло Рождество, наступили святки. Как и повелось с искони, девки артелями сидят в кельях принаряженные, выглядят раскрасивыми невестами: выбирай любую, сватай и женись. Ребята, как и положено, безвыходно обитают по кельям, млея кудятся, приглядываясь к девкам, определяя, которая самая красивая, и которую бы выбрать себе в пару. От безделия то и знай курят: дымят, чадят, напуская дыму в тесноватой келье, хоть топор вешай. Дурачась, парни изыскивают, чем бы заняться увлекательным.

– Санька, дай прикурить, – попросил Гришка у Саньки Шевирушки.

– На, прикуривай, для хорошего человека г-на не жалко! – с ухмылкой смеясь, отозвался Санька, но вместо того, чтобы огнёвый конец своей папироски приложить к Гришкиной папироске, он злонамеренно огнём-то приложил к Гришкиной щеке.

– Ты мне в харю-то не суй огнём-то! – не злобливо возразил Гришка и вновь стал припадать своей папироской к огненному концу Санькиной папироски, по-детски плямкая губами.

Но издевательское намерение не покинуло Саньку, он вторично приложил огненной папироской к Гришкиной губе.

От этой Санькиной «забавы» Гришке стало больно и он, выражая своё недовольство, с робостью сказал:

– Саньк, не надо, ведь мне от огня-то больно!

Но Саньке это не понялось, он в третий раз, как изверг, прислонил огонь к Гришкиной губе и как садист, с дьявольской ухмылкой, наслаждался страданием Гришки. Но тут Гришкино терпение лопнуло, он внезапно схватил табуретку и, размахнувшись, с силой обрушил её на голову Саньки, после чего одним махом ноги расхлебанил дверь и выпорхнул из кельи.

На святках же бывают драки и «любования». На особенно храбрых ребят находятся парни-усмирители:

– Ты чем яхриться-то да налезать на всех, давай лучше подерёмся со мной! – укрощая воинственный пыл парня с улицы Слободы, смело вызвался Панька Крестьянинов.

– Давай! Только не во зло, а так, по-любё, – согласился пристающий ко всем тот парень.

– Только чур, надо договориться, как будем драться: только по бокам или и по харям? – предъявлял условия парень-задира.

– А по чему попадёт: по бокам, по харям и по мордам! – уточнил Панька условия драки.

– Ну, я согласен, давай схлестнёмся!

И грянул кулачный бой – потеха для наблюдателей и кровоизлияние для бойцов. Вскоре, после нескольких рукопаш-

ных схваток, оба бойца были взаимно разукрашены кровавыми подтёками. А парни-наблюдатели, азартно подтрунивая над бойцами, наслаждённо хохочут, наотмашь поразинув рты. Такова уж традиция: на святках парни, как в весеннюю пору петухи, схватываются в драке, чтоб показать своё героичество перед девками-невестами, девки же, млея под тяжестью своих нарядов, показывают себя, как на базаре, являя из себя для парней большой выбор невест, которая нравится, выбирай и сватай – бери себе в жёны.

– Ну, бабоньки! Я вчера ходила по святкам, на девок любовалась, брательнику Петьке невесту выбирала, которая девка как девка, а есть и такая, точь-в-точь на куриную лестницу похожа, а иная и на скворешницу смахивает! – так изложила свои наблюдения одна баба, накануне посетившая несколько келий села с целью выбора невесты для своего брата Петьки.

– Да и ваш-то Петька, со своим кувшинным рылом тоже не особо взрачен. У него рожато на чёртов умывальник похожа, – с разносной критикой обрушилась на Петьку одна бойкая баба.

Не увлекаясь гуляньем, Анисья Булатова большинство времени отсиживалась дома; в свои двадцать лет она считала себя уже девкой-перестарком. Девки, её ровесниц, поразбирали замуж, а она осталась то ли из-за её строптивного в пору созревания характера, то ли из-за того, что она была сирота и в селе стала жить только после убийства её тётки На-

стасьи. Теперь, живя в тёткином доме, она проживала одна: сестрёнка её Дуня жила в селе, но не с Анисьей, а у другой тётки, так как Дуня была ещё сравнительно мала, и Анисье она была лишней обузой. Не по душе Анисье были женихи, особенно не любила она парней-смельчаков и нахалов. А вот к Серёге, парню тихому и стеснительному, имела в себе симпатическое чувство. Имелась у Серёги своя невеста, Нюрка, на которой он мечтал жениться, но когда он почувствовал, что недалеко живущая от него одинокая Анисья, при случайной встрече имеет к нему некоторое душевное расположение, Серёга решил со своей прежней невестой раздружиться. На последней встрече с ней Серёга напропалую в глаза расхаивал её:

– Ты, Нюрк, что-то больно потощала! – первым нелестным словом начал разговор при встрече с Нюркой, которая ожидала от него слова о женитьбе.

– А вот поженимся, я и поправлюсь. Смотря ещё чем, кормить будешь. Если нелестными словами да пинками, вон как Митька свою Марью, то не поправлюсь, так такой и останусь, а если будешь меня лелеять и хорошей пищей кормить, глядишь и пополнею! – с весёлым настроением и окрылённая тем, что по словам Серёги всё дело шло к свадьбе и, не подозревая коварства со стороны любимого жениха, отозвалась на нелестное Серёгино замечание Нюрка.

– Я такой тощей, да ты как доска, а если мы поженимся, то ведь мне с тобой и в постель придётся ложиться, а на по-

стели-то от нас, пожалуй, одни кости греметь станут, мне это будет не в удовольствие, да и от людей одно смехотворство! И, по правде сказать, у меня на тебя за последнее время что-то весь аппетит отпал. Ты меня, конечно, низвини, а я тебе прямо с открытой душой объясню: не мила ты мне стала! Я перед тобой всю правду баю, так что ты не сердись на меня и не обижайся! – так длительно и пришибленно высказался Серёга перед Нюркой, которая, слушая эти Серёгины слова, чувствовала себя не на земле, а где-то в мрачном подземелье.

Она, оскорблённая и униженная, в этот уничтожающий момент и вправду желала лучше сквозь землю провалиться, чем выслушивать от Серёги эти громовые для неё слова. И не видя никакого проблеска любезности со стороны Серёги, она с наклонённой головой отвернулась от него и тихо зашагала прочь. На этом и закончилась взаимная на вид, неразлучная их любовь, которая длилась не менее года и едва не закончившись свадьбой.

Имея намерение со святков вплотную познакомиться с Анисьей, Серёга пожаловался отцу:

– Тятёк, завтра Рождество, а там и святки начнутся, а у меня новой обуви нет. У людей-то чёсанки с калошами, а у меня подшитые валенки.

Отец внял справедливому требованию Серёги и, ни слова не говоря, направился к Василию Григорьевичу Лабину, которому сдавал точёное изделие – детские каталки.

– Василий Григорьич! – с порога требовательно заявил Серёгин отец Лабину. – Завтра Рождество, а потом и святки, а у мово Серёги новых чёсанок нет, а как-никак он у нас жених, а выдти-то ему и не в чем, чай не будет ли у тебя деньжонок рублей десять, мы бы ему обувь справили!

– Нет пока у меня денег в наличии, после Рождества будут, так что я поймею в виду! – пообещал Лабин.

– Какая жалость! – сокрушённо заметил Серёгин отец, с тем и ушёл от Лабиных.

Под самое Рождество, часа в два ночи, когда с церковной колокольни по селу с чудом раздавался призывной благовест большого колокола, и в ночной метельной мгле засверкали первые огоньки в избах, в сенную дверь Серёгина дома сильно и вызывно постучали

– Ково это в такую-то рань и метельную кутерьму несёт! Должно быть заблудился кто-то! – вешая на крючок к прикреплённому потолку только что зажжённую лампу, сонным голосом пробурчал Серёгин отец и собираясь к выходу в сени.

– Кто там?! – крикнул он, едва успев приоткрыть избную дверь.

– Я, Лабин! Открывайте! – требовательно послышалось из-за крыльца.

В пахнущее овчинами избное тепло вошёл весь обснеженный Лабин, под мышкой держа новые с калошами чёсанки.

– Вот ты баил, что парню-то обушь нечего, а наверно и к заутрене пойдёт он, так я вот сына Яньки новые чёсанки вам принёс. У Яньки-то их двое, так я и решил одни-то вам снести, раз нужда такая, – добродетельно услужливо высказался Лабин.

– Вот спасибо, Василий Григорьич, выручил, а то бы от Сергуньки мне была взбучка, вон он встал и к заутрене собирается, – довольно улыбаясь, оживленно ерахорился отец.

– Вот, Сергуньк, тебе и праздник! – вставила своё слово и довольная услугой Лабина Серёгина мать, как только Лабин вышел из избы.

В день Рождества в церкви у обедни Серёга взором встретился с Анисьей; или же ему показалось, или же помнилось, что Анисья с любезной нежностью приветливо ему улыбнулась. В само Рождество степенно нарядившийся Серёга случайно повстречался на улице с Анисьей, с замирающим от счастья сердцем Серёга переброился любезными словами с Анисьей, но разговор на виду у людей как-то не вязался, но набравшись смелости, он напросился к ней вечерком заглянуть на дом:

– Только не нынче, а завтра, сегодня на праздник-то грех, а завтра вечером, когда в селе святки откроются, приходи, – украшая своё приятное лицо улыбкой, робко, но вполне определённо пригласила к себе в дом Серёгу Анисья.

На второй день Рождества, в день открытия и начала святок, едва дождавшись вечера, Серёга, изрядно вырядившись, как только стемнело, с бьющимся как у голубя сердцем, направился к Анисье. Дома он вытвердил слова, какими будут улаживать и миловать свою новоявленную невесту, а пока шёл по улице, из-за сильного волнения всё позабыл. Анисья ждала Серёгу, он прельстил её своей скромностью и сдержанностью. Имея двадцатилетний возраст, она решила, что пора и о замужестве подумать, ведь не просидеть весь век в старых девках. И теперь, скромно наряженная, сидя на скамейке у стола, она с неживым волнением во всём теле поджидала Серёгу, не заперев как обычно на ночь наружную дверь крыльца. Заслыша щелчок дверной защёлки, Анисья обомлела и, чуя жар в лице, привскакнула с места, но не пошла навстречу, а снова уселась, бесцельно поправив на столе алую шёлковую ленту, которую она собиралась вплести себе в косу, но раздумала. Серёга в избу вошёл смело и бодро, поздоровавшись, уселся у стола напротив раздумавшейся Анисьи. Перекинувшись несколькими, не имеющими к любезностям никакого отношения словами, Серёга, вполне освоившись в незнакомой обстановке, перевёл разговор на любовную тему.

– Хорошенькая девушка как цветок! – льстиво и давясь спазмой, взволнованно начал он и продолжил. – Весной распутившийся цветок привлекает к себе пчёл, так как имеет в себе сладкий мёд, так и красивая девушка влечёт к себе

парня, и завязывается у них обоюдная любовь! А без любви на свете жить – только небо коптить! – чуть не захлёбываясь от сладостного предчувствия продолжал Серёга.

Анисья же, слушая Серёгу, взволнованно млела, она была довольна тем, что Серёга говорит такие нежные, любезные слова, и сидит вблизи-вблизи от неё, не курит, не позволяет себе высказывать похабных слов, не вольничает, как некоторые парни. Луна как половинка масляного блина, красочно освещая деревья, покрытые инеем, висела над селом. Свет от луны через окно проник в избу перекошенным четырёхугольником отражённого оконного переплёта, чётко вырисовался на полу, медленно полз от боковой стены к кровати. От светлого лунного пятна на полу в избе стало светлее, и Анисья, сочедши, что керосин жечь не резон, лампу загасила, на вскоре луна закатилась за облачко, и в избе вдруг всё потемнело, сделалось сумрачно, лица Серёги и Анисьи потускнели.

Но вскорости луна, как бы устыдившись влюблённой пары, снова выкатилась из-за тучки, но из-за какой-то затуманенной мглы на небе стала светить в полсвета, но и этого полусвета достаточно было любоваться друг другом не на шутку влюблённой паре.

– А ты знаешь, Анисьюшк, молодой месяц по небу затылком пятится! А месяц на ущербе, как бравый казак, передом идёт! – видимо, своими наблюдениями за месяцем поделился с Анисьей Сергей, высказывая этим, что он не какой-ни-

будь профан, а понимающий даже в астрономии. – А помнишь, как напрештово на небе комета появилась, и на людей страх навела?

– Помню, помню, Серёженьк, в ту пору я так напугалась, и ужас на меня напал: тогда мне помнилось, а вдруг эта комета на Землю упадёт и всех нас раздавит, вот тогда бы мы с тобой не сидели бы тут, а то видишь, как всё хорошо и на душе радостно! – с большим желанием ответила Анисья Серёге на его упоминание о комете.

Серёга до глубины души был доволен, что Анисья так живо беседует с ним, и всё дело идёт у них на лад. И преисполненный хорошим настроением, осмелев, он позволил себе подняться со своего места и подсесть к Анисье, где она сидела на лавке у простенка. Она его не оттолкнула.

– Давай наблюдать за кошкой, вон она мышей подкарауливает, – с умыслом предложил Серёга, наблюдая, как кошка в полуосвещённой избе под кроватью охотится за мышами. – Только тише, а то спугнёшь! – таинственно предупредил Серёга.

И они, смиренно пришипившись, сидели молча, боясь пошелохнуться, чтобы не помешать насторожившейся кошке. Притаившись, Серёга только теперь почувствовал, что в малолюдной избе пахнет какой-то келейностью, овчинной кислотью с примесью запаха мышатины. Не прошло и минуты, Серёга, не спросясь, молча взял её руку в свою горячую ладонь, ещё минуты через три он её уже обнял, а потом, не

сдержав в себе буйную дрожь во всём теле, он трепетно поцеловал её в горячие нежные губы. В этот счастливый, многообещающий вечер Серёга засиделся у Анисьи до полуночи. На второй день вечером Серёга почему-то не пришёл, а Анисья его поджидала и, несколько раз отодвинув занавеску на окне, всматривалась в освещённую луной улицу. «Не идёт ли?» – но он не появлялся. На третий же вечер, как только стемнело, Анисья слышала, как в сенях зашаркали чьи-то шаги: это был Серёга.

– Ты что вчера-то не приходил? – в избной полутьме встретила она его вопросом.

– Луку с чесноком наелся, вот и постеснялся, – честно признался Серёга.

– Ну и что, что наелся? – переспросила его Анисья.

– Как это что?! Ведь пришлось бы мне с тобой целоваться, а от меня разит как от козла – всё же неудобно, я постеснялся.

– Да я бы всё стерпела, я так ждала тебя вчерась, что моченьки моей нету! – растревоженно призналась она перед ним.

– Да ещё меня вчера мамка разговорила: куда, грит, ты попрёшься на воскресенье-то, все кельи закрыты, и святки нынешний вечер прикрыты – грех! Мамка думает, я по святкам разгуливаюсь.

– Эх, ведь и верно, нынче воскресенье, а я совсем из виду упустила, думала святки-то непрерывно идут! – высказала

свою оплошность Анисья. – Ну ладно, иди, подойди ко мне поближе и сядь со мной рядышком, дай-ка я тебя любовно прижму к себе да поцелую! – взволнованно проговорила она и поцеловала Серёгу.

Они сидели рядом и вели непринуждённый, задушевный, любезный разговор.

– Не смотри на красоту лица человека, познай его сердце! – поэтически высказался Серёга перед Анисьей, чувствуя, что он завлёт её не красотой своей, а какой-то особой к ней любезностью. – А хошь я тебе к кровати ножки выточу! – услужливо предложил он, видя, что постель у неё на не особенно врачной кровати.

– Выточи, я бы и больно рада была! – отозвалась Анисья.

Не согласовав с домашними такой важный вопрос, как женитьба, Серёга приступил к сватовству, но раз отец пообещал его женить по весне, то он, Серёга, решил женитьбу не откладывать до весны, благо невеста подвернулась – лучше желать нельзя. Приступив к сватовству вплотную, помимо показания беспредельной любви к ней, он расхваливался перед Анисьей:

– У меня всякой сряды насряжёнo, на всю молодость хватит: вот чёсанки новые, с новыми калошами, пеньжак добротный, шапка, рубах несколько, одних портков малестиновых штук восемь запасёно, так что поженимся, немножко пообживёмся и тебе всего накупим: сарафанов и платков с полшалками понакупим сколь тебе захочется, столь и приоб-

ретём! – самозабвенно размышлялся Серёга перед своей невестой. – Я тебя ещё пуще любить стану! – к сказанному добавил он.

– А не обманешь?! – с сомнением сказала она.

– Да ты что, вроде как ты мне и не веришь, на это я могу разобидеться! – притворно осердившись, укротил себя Серёга.

– Ну уж ладно! Сразу и обиделся, я ведь не в укор тебе сказала, я знаю, что ты меня любишь, а ты давай-ка поцелуемся, и вся обида пройдёт! Ну вот, давно бы так, мой разлюбезненький Серёженька! – с нежностью и любовью припала она к нему.

– Люблю девок с высокими грудями! – нечаянно вырвалось у Серёги, когда он ощутил около себя плотно прилежшие к нему её пышные груди.

– Вот ты, Серёж, обещаешь всего закупить, когда поженимся, а где ты денег столько-то возьмёшь? – поинтересовалась Анисья.

– Как где? Сам, своим трудом заработаю: станок поставлю, точить день и ночь стану, каталок наработаю, вот тебе и деньги. А то пашчпарт себе выхлопочу и на автозавод хлыну, в город на добыток финансов. Бают, там деньги платят почти ни за что! – размышлялся, расфантазировался Серёга.

– Как так!? – встревоженно прервала его Анисья. – Ведь ты только что говорил о женитьбе и о нашей с тобой совместной жизни, и вдруг – паспорт! Ты мне сразу сомнение на

сердце кладёшь! А если да обманешь?! – обидчиво заметила она ему, с недоверием пытливо устремив на него пышущие добротой глаза.

– Да это я так, к слову, сказал, ради тебя размечтался, ты меня прости, милая Анисьюшка. Конечно, скоро поженимся, и если тятка не согласится до Масленицы женить меня, то поженимся мы с тобой сами собой. Куплю станок, сразу же отделись, станок поставлю вон в этом углу, точить буду, денег накопим и будем жить с тобой припеваючи. Я тебе нарядку накуплю – барыню из тебя сделаю! Эх ты, дурёха! – он разгорячённо подошёл к ней вплотную и буйно поцеловал её в щёку и уселся у неё на коленях.

Она, повеселев, преданно стерпливала тяжесть его тела на своих коленях и, выслушав его изречение, которое ей понравилось и показалось особо лестным и обнадеживающим, решила дело закруглять, и если он вопрос о женитьбе будет ставить вплотную, то не сопротивляться. «Надо же примыкать к какому-то берегу!» – помыслила она про себя.

– Встань-ка, дружок, нога одрябла! – попросила она его встать с коленей. Он повиновался, встал. – Серёж, почешу-ка мне спину, я своей-то рукой не достану, а спина зачесалась, терпенья нету!

– Да туда-ти мне не так просто добраться, ты вон сколь всего на себя-то навьючила! – с радостью приготовившись почесать ей спину, отозвался Серёга.

– А ты просунь мне под рубашку руку и почесы между

лопаток, особенно в самой ложбинке.

Он, сверху протиснув руку, старательно и нежно принялся чесать там, где указано.

– Чуть-чуть пониже! – командовала она. – Тут, тут, вот гоже! – захлёбываясь от удовольствия, ворковала она.

Одной рукой чеша ей спину, другой рукой придерживая её за пышную грудь, Серёга, возбуждись, припал к её загорбку и сладостно поцеловал мягкий, пышно набухший бугорок её зашеины, и, не сдержавшись от неудержимого влечения к женскому телу, он в ярости, трепетно обхватив её и приподняв мощными руками, поволок на кровать...

На второй день этого случая Серёга с большим переживанием, нестерпимо ждал вечера, а как только смеркалось, он уже был у Анисьи. Он явился к ней в приподнятом настроении, а она сидела на лавке у стола, опечаленно понутив голову, и явно была не в духе...

– Ты что, вроде бы какая-то невесёлая? – озабоченно осведомился он.

– Будешь невесёлой: всю ноченьку не уснула, глаз не сомкнула, проплакала! – с дрожью в голосе ответила она ему.

– Это почему же так? – дознаваясь, переспросил Серёга, видя, как у неё дрожат губы.

– Как из-за чего, ты разве не знаешь, что вчера ты из меня бабу сделал! – обидчиво возвестила она. – А теперь прикидываешься, как будто, между нами, вчера ничего и не про-

изошло! Все вы, парни, такие, на вас надежда-то, видать, лыса! А я и не чаяла в тебе этого, и не думала, что ты на такое способен! – упрекала она его.

– Чай я тоже живой! – отрезал он. – Ну и что тут особенного! Есть из-за чего плакать, слезы понапрасну тратить, вот горе-то! Да если бы не я, так другой кто-нибудь с тобой это же сделал! Чай ты не двух годов по третьему, а уж тебе, сама баила, двадцатый прёт! – изрекая неопровержимые доводы, изрекал слова Серёга перед Анисьей.

– Весной, в Овдокеи, двадцать первый пойдёт! – уточнила свой возраст Анисья.

– Ну так тем более, ты уже в годах, да и мне с Покрова тоже 21-й пошёл, так что мы оба с тобой в годах: пора и к делу! А вдобавок, я тебя так люблю, что и расставанья у нас с тобой не будет! – чистосердечно признался он перед нею.

Она, повеселев, смахнула с ресницы застрявшую слезинку, улыбнулась, воркнув, как голубка, прижалась к нему и влюблённо поцеловала его.

– Ну вот, давно бы так! – успокоенно проговорил он, отвечая ей тоже крепким поцелуем.

– Миленький мой, а я уж было так растосковалась, что места себе не находила и вечера не чаяла дожидаться, увидеть тебя. Да, бишь, слушай-ка, а если вчерашний случай не пройдёт даром, то тогда как, а?

– Гм, вот дурёха, я же по-русски сказал, что женюсь на тебе, и вся недолга! Эх ты, ягодка моя ненаглядная. Да, если

мы вчера с тобой и сотворили что живое, так пускай на нашу радость и утеху растёт, развивается и рождается, я бы очень был рад этому!

От нахлынувшей нежной взаимной любви они обнялись, губы их сомкнулись в крепком и горячем поцелуе. Он обвил её тело своими цепкими руками, крепко прижал её к себе. Она приглушённо ворковала, блаженно дрыгала ногами. Преисполненный радостью и счастьем, он самодовольно громко рассмеялся, это получилось у него как-то по-жеребачьи, с игококанием. Она, с испугом наморщив лоб, поспешно прикрыла ему рот своей ладошкой.

– Что ты, родненький, так громко смеёшься, ведь с улицы-то могут услышать! А ты тихонько да нежненько улыбайся, – стараясь не досадить, поучала она его.

– И пускай услышат, пускай люди допытываются, мы с тобой сейчас как муж и жена! – резонно и определённо заявил Серёга.

Допытливы сельские бабы: разузнали, разнесли по всему селу, что Серёга с Анисьей съякнулись вплотную, и дело идёт к свадьбе.

– Вряд ли она пойдёт за него, уж больно он хлипкий: вострая куриная грудь со впадиной посередине, сама видела летом, он, раздевшись догола на берегу озера, стоял, купаться собрался, – уничтожающе расхаивала Серёгу Анна Гуляева. – По-моему, она не пойдёт, и его сватня – одна прокла-

мация! – слюнно улыбаясь, добавила она перед любопытными бабами, с пустыми вёдрами на коромыслах, стоявшими за беседой на перекрёстке улиц.

Несмотря на бабьи пересуды, у Серёги с Анисьей дело шло как по маслу, они уже вьявь встречались. Серёга, уже не хоронясь вечерней темнотой, а почти засветло каждый вечер шёл к Анисье и пропадал у неё целыми ночами. Лёжа в постели, они обоюдно, мечтательно обдумывали своё будущее житьё-бытьё. Квартирный вопрос решить пока так и не могли: или же после свадьбы жить в его семье, или же отделиться и жить в её пустовавшей избе. Серёга был склонен сразу же отделиться из семьи и жить в её доме, мечтая его заново отремонтировать.

– Уж больно ты далеко загадываешь, как бы какой загвоздки не получилось! – укрощала его мечтательный пыл Анисья.

Чародейка полная луна через окошки любопытно заглядывала к ним в избу, высвечивала на полу яркие косые четырёхугольники, освещала внутренность избы, способствовала всеночному любованию друг другом и взаимному наслаждению Серёги и Анисьи. Свадьбу решено было сделать за три недели до Масленицы и жить пока в Анисьиной избе. После венчания в церкви играли свадьбу. На свадьбе, как и обычно, пили, закусывали, веселились, поздравляли, желали молодым счастливой жизни. Во время вечернего пира

в доме жениха от скопления народа и духоты внезапно погасла лампа: в темноте завязалась такая невообразимая возня, кутерьма и суматоха, что сразу-то и не поймёшь, что здесь творится. Поспешно зажжённая хозяйкой спичка робко осветила внутренность избы. Неяркий свет врасплох застал, кто чем занимается: воспользовавшись временной темнотой, Серёга с невестой трепетно целовались, а Митька Кочеврягин умудрился залезть к Дуньке Захаровой под подол, отчего она сильно взвизгнула, всполошила весь пир. А как только зажжённый свет осветил целующихся молодых, Анисья застеснялась, щёки её вспыхнули ярким румянцем, и вся она зарделась нежной краской, артачливо заёрзала по лавке.

После свадьбы молодые поселились жить, пока на медовый месяц, в Анисьином доме. Анисье страсть как не хотелось идти в чужие люди из своего дома, она предугадывала, что привыкать ей к чужой семье и к незнакомой обстановке будет трудно, как жеребёнку к хомуту. После Масленицы свекровь настойчиво потребовала, чтобы молодые жить перешли в семью. «Чай мы его женили не для людей, а сноху-то брали не для того, чтобы они только про постель думали, чай нам помощница нужна», – глагольствовала Анисьиная свекровь перед бабами-соседками. Анисья никак не могла сжиться в чужой семье и в незнакомой ей обстановке хозяйственных хлопот и физической работы. Днями по указанию свекрови она делала дела по уборке избы, мела и мыла

попы, ходила на озеро за водой. А по ночам, лежа в постели, Анисья, плотно прижимаясь к Серёге и горячо дыша ему в ухо, притаённо шептала: «Серёженьк, почеси-ка мне спину, сама-то я рукой не достану!». Уставший за станком и уже натешившийся за медовый месяц, да и постная пища причиной тому, Серёга, невозмутимо продолжая лежать вверх лицом, как из холодного погреба отвечая Анисье, буркнул: «А ты спиной-то поёрзай по ватоле-то, и она перестанет чесаться-то! А над ухом моим не балабонь, не подъеферивайся ко мне, я устал, и мне не до этого. Спи!» – сонно пробурчал он. Как из ковша облитая холодной водой, Анисья оскорблённо приутихла, её рука, обнимавшая мужа, сразу пообмякла и лениво сползла с Серёгиной шеи. Она безучастно отвернулась к стене, укоризненно проговорила в адрес Серёги: «В молчанку играть – дело не хитрое!». Но Серёга, объятый полусном, полностью не разобрал и не понял слов жены, сказанных ему в приливе обиды и разочарования. Уставшему за день Серёге было не до любезностей и не до душевных разговоров с молодой женой, к тому же, семейная обстановка не способствовала и не благоприятствовала любовным наслаждениям. Пригревшись около разгорячённого тела жены, Серёга вскорости крепко заснул, дробно и противно захрапел. Его храп разносился по всем углам избы, которую объял непроглядный мрак темноты, как только погасили лампу.

Лишенцы, Федька. Расточитель в бегах

В конце февраля повсеместно проводились выборы в Советы. Рассчитывая на то, чтоб в сельский Совет избрать людей более снисходительных к кулакам, члены треста, сговорившись, на выборное собрание пришли организованно все. Но власти свыше, исполняя указания центра о всемерном укреплении Советов на селе и лишения кулаков прав быть избранными и права голосовать, повели иную политику, вразрез с мнением местных кулаков и прочих зажиточных крестьян – владельцев мельниц, маслобоек, шерстобоек и кузнецов. При проведении буйного выборного собрания, которое не обошлось без того самого Александрова, он, прежде всего, оповестил собравшихся:

– Товарищи и граждане! Мы, т.е. представители власти, доводим до вашего сведения, что граждане села Мотовилова – Васюнин И.В., Павлов А.А., Цапаев М.Ф. и трое Лабинских лишены избирательных прав, так что если таковые здесь присутствуют, то они немедленно должны покинуть наше собрание и освободить зал!

Под шумную реакцию собравшихся в зале (кто, сочувствуя, а кто и злорадствуя) шесть трестовцев с возмущением, нехотя, с возгласами «это ли ещё не самовольство и веролом-

ство!», «мы будем жаловаться в Москву, до самого всероссийского старосты Михаила Ивановича Калинина дойдём, а правоту сыщем!» – негодовали покидающие зал трестовцы.

– Доходите, поезжайте куда угодно, мы выполняем указание партии и директивы самого товарища Сталина! – слышались из президиума им вдогонку слова невозмутимого ярого Александра.

Как только трестовцы покинули зал, Александров, не обьявив пофамильно, добавил:

– Владельцы мельниц, маслобоек, шерстобоев и кузниц тоже могут идти по домам, мы их тоже лишили прав избирательного голоса.

Категория этих людей тоже вышла из зала. Простым поднятием рук членами сельского совета были выбраны люди преимущественно из бедноты, к тому же такие, которые беспощадны будут к кулакам и прочим зажиточным крестьянам села в деле обложения налогами и раскулачивания, на базе недовольства и вспоминания ими «обид» со стороны кулаков и прочих степенных людей села, которые, чем-то не угодив, досадили беднякам ранее, хотя добродетель степенных людей в селе была очевидной. Видя такой поворот дела и предчувствуя недоброе, на второй же день, спозаранку Василий Григорьевич выехал в Нижний Новгород по устройству своих незаконченных коммерческих дел. В Нижнем он намеревался произвести надлежащие расчеты с людьми, с которыми имел торговые отношения и заодно посоветоваться с ни-

ми, как поступить дальше: не грозит ли большой опасностью им всем – представителям частной торговли? Как более грамотные, дальновидные и будучи приближённой и осведомлённой в политике партии, Василию Григорьевичу порекомендовали торговлю свёртывать и готовиться к более худшему, так как центральное правительство взяло курс на полное изживательство частной торговли и истребление людей, занимающихся частным предпринимательством.

Безалаберный Василия Григорьевича сын Федька, не чувствуя беды, которая нависла над головой отца, или злорадствуя от неё, свою ухарскую расточительную жизнь продолжал по-прежнему. Иногда заинтересованно даже спрашивали его:

– Ты что, Федьк, не женишься?

А он, самодовольно улыбаясь, беспечно отвечал:

– А зачем я буду жениться, когда почти каждая девка и так моя? Стоит мне вечером только пригласить на гулянье любую девку, как она мне: пожалыста! – жмурясь, как кот на мясо, беззаботно отвечал Федька, бахвалясь своими любовными успехами среди девок села.

Женить Федьку, чтобы он в жизни примкнул к какому-нибудь берегу, очень хотелось его матери, она в беседе с бабами даже уже заводила разговор об этом вплотную:

– Мы с отцом своо Федьку женить надумали, а он как жеребенок на дыбы! Да на нас окрылся как бес: «Катитесь, –

грит, – от меня к ядрёной матери, что привязались, как бан-
ный лист к ж...е!» – так бессовестно и выругался перед нами
с отцом! – жаловалась она перед любопытными бабами.

А у Федыки в отсутствие отца созрел свой план: случай-
но наткнувшись на алфавитную книжку, в которой отец вёл
свою бухгалтерию, записывая, кому он должен, и кто ему
должен. Взяв эту книжку, Федька стал обходить должников,
вымогая у них деньги, расточительно для отца, переправляя
при должнике сумму долга. Таким жульническим способом
Федька по селу набрал немалую сумму, и плюс к этому, вы-
крал у отца три десятирублёвые золотые монеты, тайно по-
кинув свою родную семью, дом и село, пыхнул в Астрахань
к своему родному дяде Якову. Своё сокровище «Бульдог»,
которое он когда-то купил у Яшки Дуранова, перед отъездом
до особого времени Федька спрятал в дупло липы, растущей
у них сбоку дома.

Проруби. Твёрдое задание. Раскулачивание.

При ведении своего хозяйства у Василия Ефимовича были свои расчёты и суждения: «Денежки без дела летят, а толку мало! Истратим последние денежки, а где больше их возьмём? Заработков у нас нету! Минька отделился, Саньку чёрт унёс в Томск, Ванька в ученье попёрся, а Васька, Володька с Никишкой ещё малы!» – с болью на душе высказывался он. И чтобы иметь какой-то денежный доход, он нанялся от общества чистить проруби, а их в селе по озеру восемь и плюс большая – платьевая.

Стоит зима, давит землю стужа, крепким обручем сковал мороз воду на озере, образовав толстенный лёд. Днями и ранними утрами, когда люди ещё спят, а Василий Ефимович, вооружившись топором на длиннющем топорище и саком для выловки ледней из проруби, уже трудливо хлопчет около прорубей, обкалывая и обтёсывая края их от намёрзшего за ночь льда, чтобы к раннему приходу баб с вёдрами за водой, всё было чисто и доступно для воды. Чистя проруби, он немало натуженно трудился, выволакивая из прорубей на берег громадные льдины и вылавливая саком ледяную крошью. Вместе с потливым трудом, он немало принял

на себя и давящей силы мороза, приходя домой весь заиндевелый, с намёрзшими на усах сосульками. В первых числах марта зима сдала, повсеместно наступила оттепель. Василий Ефимович, из-за тёплого времени имея возможность отдохнуть от прорубей (их уже не сковывали морозы), отсиживался дома. К нему в дом гостем для беседы навестился Иван Трынков.

– Ты, Иван Васильич, когда думаешь собирать картошку-то за сторожье церкви? – спросил Василий Ефимович Трынкова.

– Да как-нибудь соберусь, всё времени не хватает, – равнодушно ответил Иван, не собиравший с жителей села за свой труд уже года за два, хотя времени у него для этого было более чем предостаточно. – Да ведь, вот голова, Василий Ефимович, у меня своя-то картошка, что я осенью-то нарыл, вся перемерзла в яме. Я полез в яму-то, чтобы проверить её состояние, а она под ногами-то шумит, как голыши, а теперь в тепло-то оттаяла и сделалась вся дрыжжом: в руке пожмёшь картошку-то, а из неё как из спрынцовки вода сикает! – невозмутимо о потере добра с улыбкой оповестил Василия о своей перемерзшей в яме картошке Иван.

– А ты бы поскорее перебирал её в яме-то! – порекомендовал Василий Ивану.

– Нет уж, видно: что с возу упало, то пропало. После драки кулаками не машут! – с безразличием к добру отозвался Иван.

– Садись с нами чаёвничать! – пригласил Василий Ефимович Ивана за стол чай пить.

– Нет, спасибо, не хочу! – отказался Иван.

– А ты садись-ка, нечего стесняться-то: чай с мёдом и кренделями! – нахваливал настоље Василий.

– О, тогда разве чашечку, давайте за компанию выпью! Дело в народе-то бается: где кисель, тут я и присел! – под шутивную пословицу присел к столу Иван.

– У нас в семье укоренилась какая-то безалаберщина, и не поймёшь, кто чего куролесит: Колька с Гришкой постоянно дерутся меж собой, бегают друг за дружкой, сломя голову, то Колька от боли орёт, а Гришка от удовольствия хохочет, то Колька, наслаждаясь болью Гришки заливается, смеётся, а Гришка, прыгая на одной ноге, ревет от боли.

Савельевы-ребятишки, сидевшие за чаем, весело, поджав животы, рассмеялись.

– Ну, я тут с вами заболтался, пора и домой идти! – спохватился Иван, поднимаясь с места из-за стола, где он успел уже выпить три чашки чая. – Да, бишь, в потребилку, бают, всего понавезли, пойду, погляжу, приценюсь, может чего и подобрать придётся! Всего скорее топор себе куплю, ребята-дьяволы весь топор у меня иззубрили! Оглоблю обтесать стало нечем. Ты, Василий Ефимович, не выручишь ли меня на целковый?

Сначала было Василий, отнекавшись, хотел отказать, а потом, умиловившись, дал Ивану рубль в долг. «Вот какой

надоедливый, так и выклянчил рубль – у мёртвого вытяжнет!» – не обращаясь ни к кому, высказался Василий Ефимович, как только Трынков, выйдя из избы, захлопнул за собой дверь.

В один из тёплых и тихих дней марта месяца Василий Ефимович запряг Серого в сани, отправился по селу собирать картошку за работу по очистке прорубей. Для помощи он взял с собой Ваньку, у которого в учёбе были каникулы. Не хотелось Ваньке вместе с отцом поочерёдно заходить в каждый дом села и просить людей, чтобы они насыпали ведро картошки и выносили на дорогу для ссыпки её на сани в воз. Как-то стеснительно чувствовал себя Ванька при обходе домов, и на улице Мочалихе он отказался от обхода, предпочитав оставаться около воза. Отец сам оповещающе обходил дома. Собранную картошку, около двух возов, ссыпали в подпол. И после сбора картошки, Василий Ефимович продолжал навещать проруби, и заледеневшие от морозов-утренников проруби, так же, как и ранее, старательно очищал ото льда. В один пригожий, по-весеннему тёплый день, когда с крыш построек звенела торопливая капель, и на солнцепёке безжизненно отваливались от своих мест сосульки, Василий Ефимович, наверное, в последний раз за сезон, утречком благоустроивал проруби, оторвавшись от дела, стал наблюдать, как одинокая ворона с облинявшим крылом, едва держав в воздухе, слетев с кола чьего-то огородного за-

бора, сделав несколько замысловатых бесцельных выражений в полёте, снова уселась на том же колу. До его слуха из поля донёлся радостное пение первого прилетевшего жаворонка. Вдруг до слуха Василия Ефимовича донеслись звуки истощенного крика и плача, которые неслись из Шегалева.

– Что это там за тревожный крик и шум? – спросил он у мимо проходившей бабы.

– В Шегалева Васюниных раскулачивают, – с печальным видом объяснила баба.

На заседании актива сельского совета было решено приступить к раскулачиванию в первую очередь Васюниных и Лабиных, так как для конторы правления вновь созданного колхоза спонадобилось помещение, и лучшего, как каменного дома Васюниных «актив» не подыскал, а двор Лабина Василия Григорьевича спонадобился для колхозного скота – лошадей и коров. Комиссия в составе председателя сельсовета Дыбкова И.В., пред. колхоза Федосеева, активистов Слигузова Степана, Купряхина Михаила (Грепа), Саньки Лунькина, Ковшова Мишки и Пайки утром этого дня пришла в каменный дом Васюниных, и Грепа громко и приказно провозгласил хозяевам дома: «Выметайтесь!». Самого хозяина дома Ивана Васильевича дома не было, по чьему-то сострадательному оповещению он ещё ночью скрылся из села в неизвестном направлении. Дома были хозяйка дома и старики: её свёкор и свекровь. Дедушка хотел было сопротивляться, стал упираться, нехотя расставаясь со своим

домом – насиженным местом. Мишка с Санькой «заялись» дедушкой, а Грепа с Пайкой занялись обследованием внутренних помещений дома, подыскивая, чтобы из вещей хозяев отобрать и оставить для себя. Грепа смотрел, чтобы вся мебель осталась колхозу, а Пайка, шныряя по чулану, в шкафу обнаружил бабушку спринцовку и, раззарившись и вздумав её присвоить, бесцеремонно сунул её себе в карман. Мишка Ковшов, при содействии Саньки Лунькина, бесцеремонно схватили деда за лапоть и с силой выволокли его в сени, протаскивая спиной по приступкам лестницы крыльца. От боли дед заохал и застонал, не прося о нисхождении. Хозяйку и старуху из дома вытолкали втолчки, не дав прихватить им с собой ничего, кроме одежки и хлеба. Хотела было хозяйка прихватить с собой два венских стула, и их насильно отняли. Хозяйка от жалости взвизгнула. Сбежался народ.

С домом Лабина и их двором у комиссии дело было проще: семья Лабиных без всякого сопротивления покинула свой дом, они перешли жить в другое помещение. Благо у них (через дом) было запасное жильё – половина пятистенного дома. Всё очень просто и легко. Спонадобился дом – помещение для правления колхоза и двор для колхозного скота; стоило обратиться «активу», и на заседании решили изъять у торговца Васюнина И.В. каменный дом – «мир хижинам, война дворцам!» – а для скотного двора отобрать двор совместно с домом у Лабина В.Г. – и дёшево, и сердито! А

какая же контора без вывески – просто обыкновенный дом, и только. Нашёлся сельский художник: на обрамлённом железном листе он красочно написал вывеску, которую тут же повесили на видном месте у карниза новонарождённой конторы. Вывеска каждого останавливает гласит: «Правление Мотовиловского колхоза «Раздолье»». Расставили столы, к ним приставили стулья. Столов, благо, хватило для всех сослуживцев конторы, даже один оказался без ножки (при выселении хозяев ножка была поломана), его, как калеку, забросили за круглую железную голанку. В контору стали частенько набегать правленцы колхоза, «актив» и вообще все записавшиеся в колхоз люди. Землю для колхоза уездное начальство распорядилось отвести всю одворицу от села к лесу до самой поперечной дороги. Одним словом, всю близкую и хорошую. По этому поводу сельские мужики единолично возмущённо роптовали: «Заграбастали власть в свои руки и землю захапали, самую, что ни на есть хорошую: всю одворицу! На ней и дурак хороший урожай вырастит!» Пока земля ещё не освободилась от снежного покрова, и не настало время для весенней пашни и сева, в правлении колхоза шли оживлённые заседания членов правления совместно с активом. Велась бурная подготовка к севу. Государство для вновь образовавшегося колхоза выделило пять добротных лошадей, да плюс две лошади оказались у колхозников; стало быть, в наличии в колхозе их семь, да пять обобществлённых коров. Колхозный скот сразу же поместили в Лабин двор, поставив

к лошадям конюха, а к коровам скотницу из колхозников. Значит, тягловой силой для весеннего сева колхоз обеспечен, плуги, бороны и кое-какой другой инвентарь изыскали, благо его немало, и исправного, оказалось во дворах у Васиных и у Лабиных. Семена вышестоящие органы разрешили взять из общественного амбара-магазея, из так называемого «страхсемфонда», стало быть, с семенами дело решено, а вот как быть с семенами картофеля, ведь спонадобиться его немало для посадки, а обобществлять колхозникам нечего, так как за зиму почти всю картошку съели.

– А я знаю, где изыскать нам картофель на семена! – выскакнул с венского стула Купряхин-Грепа.

– Где? – спросил его председатель колхоза Федосеев.

– Не так давно по селу собирал картошку за пролуби Савельев Василий Ефимович, наверно, немало набрал, вот нам и картошка!

– Правильно! – поддержали Грепу «активисты».

– Так как мы колхоз, то есть, не облечены властью отбирать, ты, Купряхин, пойдешь в сельсовет и скажи, чтобы там написали извещение Савельеву на сдачу в колхоз сто пудов картофеля, – посылая в совет Грепу, проинструктировал его Федосеев.

Василий Ефимович, не предчувствуя беды, старательно, по-хозяйски возился во дворе: то дрова в поленнице поправит, то натерянное сенцо подберёт. В это время и вошёл к нему во двор переписчик из сельсовета Данилов Янька.

– Вот, дядя Василий, тебе из совета извещение прислали. Я на обед домой собрался, мне председатель и вручил его, велел тебе отнести! – сказал Янька и ушёл.

Дрожащими от волнения руками и предчувствуя недоброе, Василий Ефимович развернул невзрачный клочок бумаги, кем-то наспех оторванный от газеты, чистый краек, на котором не особо грамотно было написано: «Савельеву Вас. Еф., тебе подлежит сдать колхозу 100 п. картошки!». Ошеломлённый оповещением, Василий Ефимович очумело двинулся в избу, ноги его от перепуга подкашивались, едва переступали с места на место.

– Вот, мать, полюбуйся, чего мне из совету принесли! – с дрожью в голосе едва вымолвил он перед Любовью Михайловной, хлопотавшей в чулане.

– Что, или налогом опять обложили? – с тревогой в голосе спросила Любовь Михайловна.

– Велят всю, что я набрал картошечки за пролуби, сдать в колхоз, сто пудиков, вот оно, извещенье-то у меня в руках!

– Да это рази документ? Это просто Филькина грамота: не сдадим и только! – По-своему распорядилась хозяйка, взяв в руки «клок бумаги» и читая его, чуть не плача.

Правленцы и совет прождали сутки, думая, что Савельев тут же исполнит приказание и сам привезёт картошку, но он, решив не подчиниться и подумав, что всё дело забудется, от тревоги и переживания частенько выходя во двор, хлопотливо ухетовал своё хозяйство.

– Дядя Вася! Ты бы дошёл до совету, тебя туда что-то вызывают! – окликнул Василия Ефимовича посыльный из сельсовета.

– Что-нибудь делом? Ай так? – осведомился Василий Ефимович, держа в дрожащих руках метлу, которая ходуном ходила от передаваемого на неё волнения всего его тела.

– Придёшь – узнаешь! – отозвался посыльный.

– Вот дometу двор – приду, скажи там! – сказал Василий Ефимович уходящему посыльному, а сам стал продолжать мести во дворе, но дело уже не шло на ум, в голове сверлила мысль: «Быть вызывают насчёт картошки, окаянные, чтоб им всем в тартарары провалиться! – мысленно выругался он. – Только было хотел залезть на сушила, чтобы сена сбросить скотине, а тут на тебе: приходится властям подчиниться, идти, только скотину-то жалко, голодной останется, да ведь товарищам-то это не в ум! Меня с перепугу-то инда понос прошиб!».

– У меня немножко отлегло было от сердца-то, а хватъ, вызывают в совет – быть насчёт картошки, – войдя в избу, оповестил Василий Ефимович хозяйку. – Пойду, дойду: отведу душу, узнаю, чтобы не думалось.

– Ну да, ступай! Может быть и скостят, – обнадеживающе отозвалась Любовь Михайловна.

– И куда запропастилась моя шапка, никак не найду? Ну ладно, не нашлась, так в картузе схожу, на улице-то вон теплынь какая: с крыш-то дуром капает.

Надвинув на голову старенький картуз, с пружиной внутри и с промасленным от пота пятном посредине тульи, он ушёл в совет. Идя в сельсовет, в голове у него неустойчивым плетнём плелись нерадостные мысли, где-то в неведомых уголках мозга возникали и подсовывались нелестные и тревожные предчувствия. В сельсовете его встретили недружелюбно, и когда он с недовольством стал возражать об обложении его картофельным налогом, председатель сельсовета Иван Дыбков довёл до его сведения доводы, послужившие обложению:

– Хозяйство у тебя не середняцкое, а зажиточное: имеешь молотилку, две веялки, так что мы на заседании подвели под тебя твёрдое задание и решили обложить тебя картофелем, который ты собрал с жителей села.

– Так я же эту картошку заработал: и в стужу, и в метель чища пролуби, сопли морозил!

– Вот мы и решили наложить на тебя сто пудов картошки!

– Так это выходит дневной грабёж, да и только! – не выдержав, вспылил Василий Ефимович. – Вместо того, чтобы дать волю крестьянину, вы задумали всех в дугу согнуть! И на что глядя, вы так поступаете? Ведь сто пудиков отдай – больно вам жирно будет! Всё с мужичка да с мужичка, а мужику ничего кроме обдираловки и униженья! И это вот совсем не документ, а какая-то «Филькина грамота!» – с обидой высказывая своё недовольство, Василий Ефимович, дрожащей рукой вынул из кармана «извещение», и потрясая им

в воздухе, нервно дрожал всем телом.

– Если тебе не нравится это «извещение», то мы тебе выпишем форменное обязательство! – с невозмутимым спокойствием сказал председатель. – Яньк, выпиши-ка ему официальное извещение, а я поставлю на него печать!

Что и было сделано. И он, весь объятый злостью и потрясающий всё тело ненавистью на гольтепу, возвращаясь с официальным документом в кармане, возвращался к себе домой. На второй день с утра к дому Савельевых подогнали две подводы за картошкой. Под гневным яростным взглядом хозяина из подпола вытаскивали корзинками и вёдрами набранную картошку присланные сюда колхозницы. От гнетущей обиды и нестерпимой жалости Любовь Михайловна забилась в угол и слёзно плакала, ей невыносимо было смотреть, как из подпола выгребают картошку, с таким трудом заработанную Василием Ефимовичем.

– Мы тут не при чём! – стараясь оправдаться перед хозяевами, притворно ухмыляясь, отговаривались колхозницы.

Наблюдая за дневным грабежом, взгрустнулось и бабушке Евлинье, она своими красивыми заслезнёнными глазами то и дело тянулась к концам своего платка и, подхватив их трясущимися руками, встречливо подносила их к своему горестно-наморщенному в скорби лицу.

– Гольтепа, голоштанники, вас, видимо, теперь голыми-то руками не возьмёшь! – вслух ворчал Василий Ефимович в адрес «актива» и в адрес тех, кто на его глазах выгребал из

его подпола картошку, доставшуюся ему с такими трудностями.

Нагрузив два воза мешков с картошкой, насыпальщицы ушли, отъехали от дома и нагружённые подводы. От горькой обиды и невероятной жалости, видя, как лошади рванули со скрипом сани, на которых нагружена их картошка, Любовь Михайловна, совсем схрысла: как иголкой кольнуло у неё в груди и репъём защипало в горле. Она навзничь повалилась на лавке, положив руку на блестящие слезами глаза: одна торопливая слезинка горячо прокатилась за ухом, расплылась по слоистому дереву лавки. Не выдержав слёз жены и матери, Василий Ефимович выскочил во двор, стараясь своё горе приглушить хлопотами по двору. Во дворе на сушилах в углу азартно кудахтала курица, он поспешил подглядеть, где она снеслась. Курица, заглядев хозяина, преднамеренно притаившись, кудахтать перестала. Он досадливо выругался:

– Вот окаянные, гнездо утаивают от хозяина: их корми, а яиц от них нету!

Тут же, на сушилах, по сену меланхолично расхаживались ещё две курицы и принялись громко с особой прилежностью кудахтать, видимо, выбирая место под гнёзда.

– Вот супостаты, всё сено запомётили, чтоб вам подохнуть, заразам, шиш! Враги, что вам, места нет что ли! – надеяля злобной руганью кур, он с досады бросил в них метлой – куры испуганно разлетелись в разные стороны, обдав хозяина поднятой крыльями пылью, продолжали ещё более

настойчиво и навязчиво кудахтать и растичься. – Эх! Куры и те непослушными стали: им добра желаешь, а они как паразиты на своём стоят: нестись не несутся, а только всё се-но изгадили! Яиц-то от вас не видно, а крику подняли, хоть уши затыкай! – злобно брюзжал Василий Ефимович, слезая с сушил.

Со двора, чтобы отвести душу, Василий Ефимович направился в мазанку, проверить список должников. Все внутренние стены мазанки были пёстро исписаны безграмотной рукой хозяина. Должников хлеба он записывал углём, а денежных дебиторов мелом: Лаптевы – 2 п. ржи, Терёхины – 2 п. и 13 ф. ржи, Семион – 20 фун. ржи. Гирын – 1 п. + 1 руп. Жарков М. – 1 п 25 фун. ржи. Велась у Василия Ефимовича и книжная бухгалтерия: он имел записную книжку, в которой он преимущественно записывал денежных должников и даты покрытия коровы. И кто-то из малышей-ребятишек возьми, да и исчеркай эту драгоценную для хозяина книжку. Обнаружив детскую шалость, он заочно обругал виновника: «Это кто уж сумничал, мою-то книжку всю исчеркал! Чирей бы в рученьки-то!» – нелестными ругательствами наделал он невыявленного виновника проделки проказника/греховодника.

После такого горестного потрясения с картошкой Василий Ефимович о своём горе решил поделиться с Санькой. Он целую неделю собирался написать Саньке письмо в Томск.

Вырвав из Васькиной ученической тетради лист бумаги, он, забравшись в верхнюю комнату (чтобы никто не мешал), целых три дня в одиночестве сочинял письмо, мерекая над каждой строчкой. Семья старалась не мешать в его сочинительстве столь важного послания, в котором он подробно излагал свои обиды на власть: трудился, зяб, мёрз, сопли морозил, и заработанную картошку мигом отобрали! Писал он плохо, едва осилив полторы зимы ученья в школе и уразумев, как писать, как читать и как считать, он бросил и больше не стал посещать школу. В своём написании он частенько употреблял славянские литеры, иногда ставил твёрдый и мягкий знаки, там, где им и не положено быть. Сидя целыми часами, он старательно и кропотливо до семи потов сочинял это письмо. А когда он, засеяв обе стороны листа бумаги какими-то замысловатыми каракулями, поделился содержанием письма с Любовью Михайловной.

– Я что-то не пойму, это вот у тебя кириллица или глаголица? – спросила она его, когда взяла в руки письмо и стала знакомиться, о чём он пишет.

– Чай сама видишь, что глаголица, что уж ты, совсем разучилась читать-то что ли? – раздражённо оборвал он её.

Письмо запечатано, и на следующий день, когда Васька собирался идти в школу, отец вручил ему драгоценное письмо, чтоб он отнёс его к сельсовету и опустил в почтовый ящик.

Пашня. Колькины стишки

Отгремела ростополь (утихомирилась водная стихия), отбушевали реки, наполнились водою болота и озёра, – угомонилась в своём весеннем, буйном, таинственном и неугомном круговороте вода.

В этом таинственном круговороте по законам природы может произойти занимательная судьба трёх капель воды. Ведь может же произойти такое: на мотовиловском поле, на горе, на самой вершине водораздела в середине марта, когда солнце особо напористо припекает землю, может появиться небольшая проталина. На вершине кома оголённой земли, оставшегося от осенней вспашки, не размытого осенними дождями и скованного зимними морозами, от дотаявшего последнего комочка снега, образовались три капли воды. Одна из них скатилась на западную сторону кома, другая на южную, а третья, скользя, очутилась на северной стороне земляного кома. И судьба всех трёх капель от этого получилась занимательно разной. Та капля, которая скатилась по южной стороне земляного кома, вместе со своими собратьями угодила в овраг Шишкол, а потом в речку Задок, а затем в реку Пьяну, в Суру и в Волгу, а там и в Каспийское море. Та капля, которая скользнула по северной стороне кома, угодила в исток «Рыбаков», а там через проток Ивановский и поток Воробейку попала в реку Сережу, а затем в Тешу, в Оку и

тоже в матушку-Волгу. Только путь второй капли до Волги и до Каспия значительно иной и дольше. Судьба третьей капли воды оказалась совсем отличительной от судеб её подруг, с которыми эта капля образовалась на вершине комочка бок о бок. Эта капля, скатившаяся по западной грани земельного кома, угодила в большое полевое болото «Ендовны», и здесь осталась на всё лето...

Первая половина апреля была ненастной: земля, освободившись от снежного покрова, прела, готовилась для пашни. Пятнадцатого числа небо, освободившись от тёмных сплошных облаков, как бы сбросив с себя чёрное одеяние, выяснилось: стало свежо и прозрачно, подобно голубоватому стеклу. Солнышко усердно и ласково пригревало землю, земля подсохла и сразу же позвала крестьянина с плугом в поле. На 16-е апреля мужики назначили первый выезд на пашню.

Василию Ефимовичу в эту ночь плохо спалось. Он часто ворочался с боку на бок, думы заботы о предстоящей пашне и севе не давали ему покою, и он встал с постели раным-рано. Через синь окон в избу дремотно цедилась предрасветная белесь. В темноте внутренности избы робко только-только стали обозначаться предметы. Ёжась от утренней прохлады и широко позёвывая, Василий Ефимович вышел во двор. Перво-наперво он настезь расхлебянил ворота. На восточной стороне неба настойчиво разгоралась заря, невидимое

из-за построек солнышко медленно всходило, ущерблённый месяц горделиво казакуя на чистом изумрудном небе, медленно скатывался к западу, померкнувшие звёзды давно уже погасли.

Чтоб не уступить первенства в выезде в поле на пашню, Василий Ефимович поспешно вывел из хлева ещё дремавшего Серого, стал запрягать его в телегу, на которой ещё с вечера были уложены плуг, борона, оральный хомут с постромками, лукошко и мешки с семенами – овсом. Запрягши лошадь, Василий Ефимович вошёл в избу, на скорую руку позавтракав, разбудил Ваньку и полусонного его выпроводив во двор, уложил его на телеге на мешки с овсом досыпать. Взбодрённый окриками хозяина, хлопотливо действующего во время запряжки, Серый настороженно поводил ушами, пробно переминался с ноги на ногу, готов был тронуться в путь, и как только Василий Ефимович по-молодецки вспрыгнул на телегу, Серый дружно рванул с места и резво зашагал со двора. Выехали из села. Солнышко, поднявшись над горизонтом, как говорится, в полдуба, ласково грело землю и весь мир, который поверх земли: ожившую травку, деревья, строения и людей. В высоте небес задорно и резво пели, заливались жаворонки. На ярко освещенной церковной колокольне призывно зазвонили к заутрене. Завидя, что впереди на дороге кто-то едет опередивший его, Василий Ефимович с явной досадой ударил Серого вожжой, тот, услужливо по-

винуясь хозяину, трепетно рванулся вперёд и, минутой догнав впереди ехавшую телегу, громко фыркнул, как бы извещая этим, что ехавшие впереди нас догнаны!

– Мир дорогой! – традиционно поприветствовал Василий Ефимович соседа Фёдора Крестьянникова, оказавшегося выехавшим в поле ранее его.

– Просим милости! – ответил ему Фёдор.

– Фёдор Васильич, ты не знаешь, сегодня какой праздник? На колокольне-то вон звонят!

– Как и не знать, сегодня празднество иконе Божьей Матери «Неувядаемый цвет».

– Эх, это тогда сегодня, в день-то знаменитый, мы в поле-то выехали: цвет на хлебу будет хороший значит и урожай можно ожидать обильный! – мечтательно высказался Василий Ефимович.

– Да, день сегодня по всем статьям выдался хорош, вон и солнышко как-то по-особенному пригревает.

– А когда будет день празднования перенесения Честного пояса Пресвятой Богородицы в Царьград? – спросил Василий Ефимович у Фёдора, зная, что тот, имея у себя дома «святцы», системно заглядывает в них и знает, когда в году отмечается тот или иной незначительный христианский праздник.

– По старому-то, двенадцатого апреля, а по-новому – двадцать пятого! – начётнической точностью ответил Фёдор.

– А я знаю, что этот день отмечается в самый сев, а точ-

но-то в какое число – и запомнил. В этот день моя покойная бабушка Анастасия именинница, – вспомнив о своей бабушке (отцовой матери), продолжал дорожную беседу Василий Ефимович.

– А покойный-то твой отец Ефим, когда именинник-то? – поинтересовался Фёдор.

– Его-то день рождения 20-го января. Евфимий Великий – мы с ним именинники-то почти рядом: он 20-го, а я – 30-го января в три святителя: меня в честь Василия Великого при крещеньи-то назвали. Я родился в самую-то стужу! – подробствовал Василий, отвечая Фёдору.

– А я родился, что ни наесть в самую жаркую пору сенокоса, 4-го июля, считая необходимым оповестить Василия, о своём дне рождения информировал Фёдор.

Пока ехали, от села поднимаясь в гору, где дорога идёт на пологий подъём к оврагу «Рыбаков», Василий Ефимович вёл непринуждённую беседу. Разговаривали о том, о сём: о праздниках, о том, кто и когда именинник, о весне, о пашне, о севе. Спящему на мешках с овсом Ваньке тягуче плыли в уши слова собеседников, он то просыпался, когда колесо телеги наезжало на жёсткий придорожный ком земли или на мгновение проваливалось в углубление колеи, отчего телегу встряхивало, и Ванька невольно просыпался. И не вслушиваясь в тягучий разговор взрослых, под залихватое пение жаворонка в поднебесье, он снова сладко засыпал. А когда дорога, миновав взгорье, снова пошла под уклон, и Фёдор

с отцом, понукая своих лошадей, пустили их ход в притруску, телега затарахтела, буйно затряслась на буераках, и Ванька, проснувшись, дремотно расселся на мешках, подставив голову тёплым ласковым солнечным лучам, в его взлохмаченных кудрявых волосах игриво разгуливался прохладный утренний ветерок.

Приехав к отдалённому оврагу Шишколу, где находится земля для яровых посевов, и распрягши лошадей в его отлоге, Фёдор и Ванькин отец стали перепрягать, надев на лошадей оральные хомуты с постромками и зацепив плуга, благоговейно перекрестившись, всяк на своём загоне стали проделывать первую борозду. Положив руки на плуг, Василию Ефимовичу вдруг что-то помыслилось: «Не последний ли раз, не последнюю ли весну пахать-то доводится – как бы в колхоз не загнали! – с горечью и тоской подумалось ему. – Не увидишь вот такой волюшки: отберут в колхоз и землю-матушку, и лошадушку-кормилицу, инвентарь, телегу, плуг и борону, и само себе не хозяином будешь!». Вспахав по загону, Крестьяннинов и Савельевы переехали на другое место, где расположена другая их земельная выть, и находились другие их широченные загоны. Сделав на этом загоне в дальний конец ездок пять и проделав с десятков борозд плугом, отец, передавая плуг Ваньке, сказал: «На-ка, Вань, попаши, а я отдохнуть на телегу прилягу». Ванька, сладостно потянувшись всем телом, крепко уцепился руками в получни плу-

га и, повелительно крикнув на Серого, спотыкаясь ногами о вывороченные земляные комья, шатко пошёл по борозде за плугом.

Солнышко уже высоко взбралось на изумрудно-чистом куполе небосвода, его лучи горячо пригревали Ванькино тело, которое и от упругевого шествия за плугом разогревалось и так. Пахая проехав несколько раз взад и вперёд по загону, отчего ширина вспаханной земли росла и росла, Ванька заметно приустал, уже и устал и Серый, Ванька решил отдохнуть, благо слыша, как с телеги дробно сыплется отцов храп. Доехав до дальнего конца загона Ванька, остановил Серого, позволив ему припасть к рubeжку, на котором дыбилась, зеленея молодая морось травы. В это время к Ваньке подошёл недалеко от него пахавший с братом Митькой, Колька Кочеврягин, известный в селе, как спец по складу народных прибауток, частушек и стишков. Таких как Колька поэтом не назовёшь, а версификатором назвать можно. Подходя ближе к Ваньке, Колька перво-наперво продекламировал перед ним свои новосложенные стишки, на тему колхоза: «Грязь и навоз, собрались в колхоз!», «В Мотовиловском колхозе низко ходят облака, Санька Лунькин отелился, теперь хватит молока!», «В Мотовиловском колхозе сива лошадь завелась, а Захарова Дуняша с Федосеевым свелась!», «Трактор пашет, земля сохнет, через год колхоз подохнет!»

– Ну как Ваньк мои стишки, хороши ай нет? – спросил Колька осведомляясь у Ваньки о качестве своих стишков.

– Очень гожи! – с похвалой отозвался Ванька о стишках, которые ему понравились из-за складу и из-за того, что они сложены своим сельским стихотворцем.

– Эти короткие стишки я сложил и помню их на память, а вот у меня есть и длинное стихотворение, которое я записал на бумаге и не про колхоз, а про весну и землю, – Колька, вынув из грудного кармана написанный листок бумаги, подал Ваньке, – на, почитай!

Ванька, разгладив листок, стал читать:

«Весёлые напевы», – прочитал заглавие он и дальше само стихотворение.

С юга пахнуло теплом,

Тёплые солнца лучи.

Снег доживает своё...

К нам прилетели грачи.

С гор потекли ручейки,

Жаворонок в поле поёт,

Пахаря в поле зовет

Плугом бороздки чертить.

Грудь у земли широка,

Наша кормилица мать.

Дни наступили без холодка,

Надо скорее пахать засевать.

Спозаранку пахарь за плугом ходит,

Понукая лошадку свою,

Он наблюдает, как солнышко всходит

Над горизонтом, на самом краю.

Похвально отозвавшись о стихотворенье, Ванька позавидовал Кольке, что он имеет такой талант в деле так рифмованно складывать стишки и в душе подсадовал, что таким талантом обладает не он Ванька, а Колька.

На пашне и севе, Ванька с отцом пробыл три дня, здесь в поле они две ночи проночевали, из-за дальности земли, не ездя в село. За эти три дня они вспахали и засеяли овсом и вико-овсяной смесью почти все загоны, которые были здесь в заполье. Эти три дня, Ванька не ходил в Чернуху и не посещал школу, вынужденно «прогулял». Он внутренне боялся за исход дела в вопросе его прогулянный дней. Ванька опасался, что за этот пропуск в ученье его в школе не похвалят, а возможно чем-либо накажут, да, пожалуй, и исключить могут.

Первый трактор

В этот тёплый весенний день, из Чернухи, из школы Ванька, домой в своё родное Мотовилово, возвращался с особенным весёлым настроем. Ему было радостно от того, что в школе за его трёхдневный прогул строго не наказали, учителя подтрунивая только шутивно посмеялись:

– Вот так аккуратный ученик, только по три дня школу не посещает!

Но они, видимо, все же снисходительно вошли в Ванькино положение, ведь прогул-то был допущен не ради лени, а по причине работы в поле на севе. Ещё не дойдя до села, Ванька слышал тарактенье, а потом и увидел пахущие на колхозной земле трактора «фордзоны». Здесь же, только ближе к селу, колхозники пахали и на лошадях. Ванька, в числе заинтересовавшихся людей толпившихся около пахущих тракторов, с большим любопытством стал наблюдать за работой столь удивительной и умной машины. Трактор на поле села, который впервые завидели мужики-крестьяне по истине умопомрачающая диковина. Сам трактор, на первый взгляд представляет собой железный ящик на четырёх колёсах, хлопотно и настойчиво тарактя отфыркивается приятным на вкус сизоватым дымом. На сиденье сидит человек-тракторист, он-то и повелевает всей работой, этой трепетно-дрожащей махины, он-то и направляет её в движение

туда, куда надо, и тащить за собой прицепленный плуг.

– Больно глыбоко пашут! – возмущенно заметил один мужик весь обросший густой бородой, с любопытством наблюдавший за тракторами.

– Чего ты баишь? – спросил у него рябой мужик.

– Глыбоко, говорю, пашут. Золу на верх земли выворачивают, родиться ничего не будет! Ведь урожайный-то слой земли в самом верху находится, а они его вниз хоронют. Этим они только землю коверкают, над землёй издеваются – это не по-крестьянски. Право видит бог! – с чувством знатока мужицкой агрономии, и с жалостью к земле высказался бородач.

– Зато им межи нипочём, видишь, как они все неровности поля заравнивают! – заметил рябой мужик.

– Да межи-то они горазды заравнивать-то. А они, межи-то с покон веку на полях велись, без них не обойтись, ведь они размежёвывают от «твоего» «моё», – в защиту межей высказался старичок, заинтересованный тракторами, присоединился к разговаривающим мужикам.

– У межей-то есть и плохая сторона – поля на мелкие лоскутья рассекают и в них сорные травы зимой приют имеют, а ведь сорняки-то первая помеха для хлебов! – заметил рыжеватый молодой мужик.

– Так они же, колхозники-то не только тракторами, вон и на лошадях-то пашут! – указывая в ту сторону, где пахари пашут на семи колхозных с подрезанными хвостами лоша-

дах, езда с плугом друг за другом по сравнительно большому участку земли-одворицы. – А простым плугом межи не заровняешь! – заметил бородач.

– Обкарнали у лошадей гривы и хвосты по самую репицу и думают дело! – с возмущением высказался рябой мужик. – Колхоз, значит, это ново, а в колхозе всё должно быть ново-обновлёнными и земля, и люди, и лошади, вот и обрезали хвосты-то! – с полушутливой усмешкой проговорил рыжеватый молодой мужик.

– Так это откуда в колхозе-то лошади-то взялись, ведь у них во всех семнадцати хозяйствах оказалось всего две лошади? – дознавался один из мужиков.

– Было две, стало семь. Пять лошадей для колхоза Государство выделило! И все они отличились от наших сельских и ростом больше и силой помогучее, особенно вон та сивая-то глядите-ка, как она легко и статно с плугом-то идёт! – с похвалой о лошадях, Государством данных колхозу, отозвался рыжий.

На лошадях и на тракторах, выделенных совхозом им. Калинина для помощи колхозу, колхозники в эту весну 1930 года проделали «первую борозду» новой невиданной до сего времени, колхозной жизни. А на задворках села, около «Соснового» болота, колхозниками началось строительство скотного двора, явившемся «первым колышком» административного центра колхоза.

В селе появилась неведомая до сих пор кличка людей, состоявших в колхозе — «колхознички».

Возвращение Саньки. Снова с Наташкой

Из Томска, Санька приехал весной. Его домой позвало беспокойство о семье и хозяйстве, о котором в письмах ему напоминали отец и мать. В течение зимы Санька из Томска прислал две посылки, которые он высылал на имя Ваньки, так как он, учась в Чернухе имел возможность и скорее получить посылки с почты. Санькины посылки дома раскрывали всей семьёй с торжеством. Наряду с фруктами, всем были присланы персональные подарки: Ваньке – ученический пенал с набором карандашей, матери – платок, а отцу – набор столовых вилок, зная, что он любил угощать гостей и любил сервировку стола. Подарками все были довольны и заочно благодарили Саньку.

Теперь Санька снова дома, но как только улеглись приятные минуты встречи Саньки в дому, отец снова стал проявлять своё недовольство, тем, что от грамотея Саньки в хозяйстве нельзя ожидать приполку. Отец при малейшем недовольстве семьёй, свою досаду срывал на Саньке упрекая его в лени. Не называя прямо имя Саньки, отец в недовольстве своём, окольно намеревался всячески опорочить Саньку, хотя речь его велась иногда в мягких тонах и прямо не каса-

лась личности Саньки. Но Санька догадывался, что камешки летят в его огород и не выдержав наговоров отца, иногда не выдержанно всплывая, словесно оборонялся, допуская грубость.

Семья сидела за столом, ужинала.

– А ты не бросайся по-собачьи то, а будь повежливее! Ведь вас не к этому учат! – укрощал отец Саньку. – Что ты тут за столом-то сидишь, как куропаный, ай не выпался? – унижающе добавил отец в адрес Саньки. – Не оправдывайте свою несметливость и нерадение к хозяйству пустыми отговорками и не сваливайте со своих безрассудных голов на мою здоровую голову. И учить меня переучивать нет смысла, кто намеревается со мной это сделать, тот сам совсем разучился! – как молотком по голове ударами ложились на голову Саньки эти отцовы монотонные тяжёлые слова. – А может голова моя стала дырявой, и я не так мыслю? – несколько смягчался отец, сдерживая себя, чтоб не совсем обидеть Саньку.

А мать своё гнула:

– Сань, давно мне грептится сказать тебе, я Наташку тебе в невесты присудобила или ты от неё отшатнулся? Чем она тебе не пара? А ты снова к ней пришатнись, и женись на ней, – попросту, по-бабьи высказала мать перед Санькой страстно желая, чтобы он поженился, ведь он уже в годах,

ему 20 лет.

– Ты мам вечно одно и то же! – беря гармонь в руки с недо-
вольством упрекнул мать Санька.

– Ты Саньк иди, да только там больно-то не загуливайся,
не запаздывайся, а то я двери на запор, ворота на засов. Да в
вороты-то не грохай, не ломись, как в прошлый раз, все во-
роты разгрохал! – назидательно сопровождал отец выходяв-
шего с гармонью на улицу Саньку.

– Да, до нового урожая ещё долго, а у нас хлеба в мазанке
осталось под исход Израиля! – нарочно внятно, чтобы слы-
шал Санька с видимым беспокойством, изрёк отец. – Брысь!
Весь пирог обглодала окаянная! – переключил свой беспри-
чинный гнев на кошку Василий Ефимович, видя, как кош-
ка тайно подкрадывается к пирогу, лежащему на залавке. –
Да вышвырните кошку-то в сени, а то с обжору нарыгает, а
ты Ваньк, не больно выпячивайся в окошко-то, а то стекло
выдавишь! – строго предупредил отец Ваньку, открывшему
окно и наблюдавшему летают ли майские жуки вокруг крон
берёзы и ветлы.

На улице вечерело, на село медленно по-весеннему опус-
кались сумерки. Сквозь молодую, только что недавно по-
явившуюся изумрудную листву берёз и вётел, нежно просе-
ивался ветерок. На село с западной стороны медленно на-
валивалась хмурная туча, пахнувшая весенней сыростью и
сулившая дождь. Тучу то и знай полосовал огненный хлыст

молнии. Вдали предупредительно в полголоса поговаривал гром. Отлежавшись за зиму гармонь, в Санькиных руках, заиграла мелодично и призывно, вызывая девок на улицу. Санька шёл неспеша, под звуки своей гармонии, под мелодию: «Когда ж имел золотые горы». Санька двигался туда, где по его расчёту поджидала его Наташка. Ещё днём, заметил Санька из окна своего дома, как Наташка разнаряжено шурша шёлковым платьем, павой проплыла нарочито задерживая свой пружинистый ход, когда проходила мимо Санькиного дома. И сейчас, когда улицу окутала полутьма, она, прислонившись к косяку двери мазанки с тревогой поджидала его. Ей казалось мучительно долго он не появлялся на улице. А теперь, когда Наташка явственно слышала знакомый напев гармонии, она вся преобразилась, взволновано заколыхалась её пышная грудь. Живя всю зиму в Томске, Санька частенько вспоминал о родной семье, о доме, о селе и, конечно, о любимой им Наташке. Он ни одно письмо посылал Наташке, и когда она получила первое из них, она взволнованная вниманием Саньки заплакала от радости.

Когда Санька приблизился к заветной мазанке и завидел в проёме белеющую Наташкину фигуру, гармонь в его руках оборвала игру на полутоне. Она, прильнув к нему вплотную первой поцеловала его в щёку и весело улыбнувшись проговорила:

– Ты что Сань, редковато мне письма слал? Я вся изда-

лась, истосковалась, от грусти даже похудела. Видишь, юбка-то на мне широковата стала! – Не сводя с него влюбленных глаз, сдержанно жаловалась она ему.

– Да ничего, ещё есть за что подержаться-то! – улыбаясь наивно пошутил он.

– Ты знаешь Сань перед тем, как мне получить от тебя первое письмо, накануне мне приснился вещий сон, я будто бы в избе на полу щепки собирала! Сон-то мне, как в рот положил! – с большим удовольствием, с любезностью глаголила Наташка Саньке. – Я, ты сам знаешь, гулять-то люблю так, чтобы от людей у нас всё было шито-крыто, по взаимной любви, губы в губы, и чтобы друг от друга ни на шаг! Я с тобой хоть на край света идти согласна! – преданно призналась Наташка Саньке. – А что раньше было, то забудем! – в раздумье, вспомнив о былом, добавила она.

– А ты вообще, в жизни-то счастлива? – внезапно спросил он, застав её мысли врасплох.

– Да, если к этому слову прибавить две буквы, – загадочно ответила она.

– А что?! – настороженно переспросил он.

– Сам знаешь, на вас таких, вот как ты, знать надёжа-то лыса, с вами гуляй, вам поддавайся, а вы руки в брюки и алё!

– И ищи свищи вас! Это верно, наше дело не рожать. Сунул-вынул и бежать! – под взаимный смешок, от кого-то слышанной поговоркой, отшутился он.

Пожары в Чернухе и в Мотовилове

В Ни́колу люди придя от обедни, и пообедав, кто чем занимался. Старики прилегши отдохнуть спали, молодёжь гуляла, молодые мужики, расположившись на травке у Савельева окна играли в карты. По небу в безветрии тихо плыли облака. И вдруг на улице кто-то истошно прогорланил:

– Караул! Горит на Мочалихе!

Игроки, побросав карты всмотрелись, из-за крыши Семёнова двора в небо вымахнул столб густого чёрного дыма. Бросились на берег озера. На том берегу среди густого дыма отчётливо виднелись рыжие языки огня, пожар разгорался. С колокольни взбешенно взвыл набат.

– Ах, батюшки! Знать опять где-то горит! – всполошённо забеспокоилась бабушка Евлинья быстро выходя из дома.

По улицам села торопко забегали, засновали взад-вперед, как муравьи в кочке встревоженные люди.

– У кого горит? – спросил Фёдор Крестьянинов у Ивана Федотова, возвращающегося с озера.

– У Ивана Мишина на Мочалихе! – не останавливаясь откликнулся Иван.

– Чай от курева, больше то в такое время не от чего, – пояснил сам себе Фёдор, размышляя о том, от чего могло загореться.

Митька Кочеврягин в этот день с утра уехал в лес за дро-

вами. И уже выехав из леса с полным возом, вдруг заметил клуб дыма над селом. Ему помнилось, горит его дом. Поддав лошади кнута, Митька погнал к селу галопом. Воз был плохо утянут верёвкой и пока он ехал до села, дров в телеге почти не осталось ни одной жердочки, почти все дорогой растерял. На пожар Митька пригнал, когда уже пламенем было объято три дома. Люди истошно кричали, бабы с вёдрами на коромыслах сутолочно подтаскивали с озера воду, мужики, работая топорами и баграми, растаскивали горящие строения, с подъезженной стороны буйно работала машина-насос. Санька Лунькин с медным опрыском в руках без боязно приближался к огню направляя на него укрощающую водную струю. Он трубно горланил в толпу:

– Воды-ы-ы-ы-ы!

Пожар разрастался в обе стороны горящего порядка изб. Весенняя сухость, сплошные дворы и солома способствовали распространению огня. Один пятистенный дом под железной крышей загорелся от жары горевшего по соседству дома. Сначала дымно затлел дощатый карниз, вспыхнуло пламя. Рыжеватые огненные языки воровато проникли под крышу, там загорелся чердачный хлам, и пошла гулять стихия. От полыхавшего огня на чердаке, покраснела железная крыша. Мужики с ревушим криком зацепили баграми за раскалённый крышный шатёр дружно взявшись, потащили всю крышу целиком. Железо, противно скребя за сердце, заскрежетало и всей машиной сползло с горячей стопы дома на зем-

лю. Митька, озорно и взбешённо скача на телеге с бочкой, в числе других подвозил к насосу воду, норовя направлять лошадь на зазевавшую толпу девок, которые безучастно наблюдали пожар.

За каких-нибудь час или полтора, огненный смерч прошёлся от края и до края всего порядка домов. Пожар уничтожил 25 домов с надворными постройками, у многих погорела и хозяйственная утварь. После каждого пожара, как водится, люди стараются дознаться о причине возникновения его, кто какие мнения высказывают люди, кто скажет – самогонку гнали, кто скажет – от куренья, а кто и свалит на шалости детей. Истинную причину пожару, дрожащим от испуга языком, изъяснил сам хозяин дома. Едва успев живым выбраться из токарни, он кратко обрисовал что произошло. Уставши на вчерашней работе в поле, где он допоздна пахал и досевал гречуху и просо, он в токарне заснул богатырским сном. Проспал всю ночь и позднего утра прихватил. А утром, позавтракав, сходил «на двор» и закурив, снова улёгся на стружки. Благо день-то праздничный – Никола, можно спать беззаботно! Ну, видимо, от папироски загорелись стружки, проснулся, а вся токарня пламенем объята! Вот и беда настигла!

– Да, видно, чему быть – того не миновать! – пророчески заметила Дарья Федотова, слушая Анну Крестьянину, которая слышала рассказ о пожаре из уст хозяина дома, где

возник опустошительный пожар. – Эт вот ладно только 25 домов сгорело, а могло и больше! Может бы и больше сгорело, если бы мужики не так дружно тушили.

– А Санька-то Лунькин, со своей кишкой так и лезет, так и лезет прямо в огонь! – восхищаясь Санькиным бесстрашием, высказалась Анна.

– Да, а вон в Чернухе-то на днях больше двухсот домов сгорело!

– А отчего бишь там-то загорелось? – любопытствовала Дарья.

– От мельницы! – робко вступил в разговор Ванька Савельев, как очевидец пожара в Чернухе.

– Эт как от мельницы-то? Расскажи, – попросили бабы Ваньку.

И он начал свой рассказ о пожаре так:

– В поле, недалеко от села Чурнухи, молола мельница, и видимо, мельник схалатничал, не предвидя беды, не смазил наверх и не смазал вовремя вал. А он до того, видимо, от трения накалился, что возник огонь, от вала загорелась сухая дощатая крыша колпака, моментально загорелись машущие на ветру крылья. Огонь раздувался потягивающим на село ветром. От горящего крыла ветром оторвало горящую щепку. Подаваемая разыгравшимся весенним ветром, она огненной галкой полетела к селу и упала около сарая, сбочь которого находилась сухая, как порох, солома. Солома загорелась, от соломы как коробок со спичками вспыхнул сарай.

От сарая в село полетели огненные клочья соломы, от которых загорелось сразу несколько соломенных крыш. И пошло по селу разгуливаться свирепая стихия. В результате почти четверть всего села была объята всепожирающим огнём, от которого спасение для людей только вода и поле. Домашний скарб погорельцев печально плавал по воде овражка и прудов, а люди не в состоянии спасти добро, спасаясь сами убежали в поле от бушующего огненного смерча.

Пашня на Окискином поле, рассуждения о колхозе

За речкой Сережей, около железной дороги, у самого лесного урочища Дерябы на Онискином поле, мужики пахали под посевы поздних яровых культур, под гречиху и просо. Здесь пахали Василий Ефимович с Ванькой, Фёдор Крестьянинов с Панькой, Иван Федотов с Санькой и невдалеке от них пахали Николай Ершов и Митька Кочеврагин. Обедать расположились около обширного болота с чистой прозрачной водой. После обеда ребята пошли к речке купаться и ловить рыбу руками.

– Николай Сергеич, ты что хвост-то у лошади-то отчекрыжил? – с некоторой подковыркой спросил Митька у Николая, как только на скорую руку пообедав, он пустил свою лошадь попасться приблизился к стану мужиков.

– Позавидовал у колхозников, у ихних-то лошадей хвосты и гривы пообстрижены, вот и я последовал ихнему примеру, – без признаков возмущения ответил Николай.

– У ихних-то лошадей хвосты-то только по колена обрезаются, а ты, отчихвостил по самую репицу, – в улыбке тряс жиденькой бородкой, заметил Иван Федотов.

– Да, знать я малость ошибся, я думал обрежу немножко, а хват, получилось по самую репицу! – виновато оправды-

вался Николай перед мужиками, знающими толк в лошадях.

– Чем же она у тебя будет слепней-то отпугивать, ведь скоро жара наступит, и слепень тут как тут! – заметил Фёдор.

– Как чем? Хвостом. Видите, как она лихо хвостиком-то помахивает, так-то вроде ещё лучше! – стараясь оправдать свою оплошность, отговаривался Николай, – а вообще-то да, виноват, исправлюсь, – закончил разговор о хвосте Николай.

– А я что думаю, уважаемые мужички, а ведь нам колхозу-то не миновать. Ну год, ну два мы проединоличниствуем, а в колхоз придётся втиснуться, – полосую бумагу для курева и присаживаясь на корточки возле мужиков, высказал свою мысль о колхозе Николай.

– Тут надо проявить разумность. В таком важном деле не обдумавши, без здравого рассудка поступать нельзя! – высказался Фёдор не столько в ответ Николаю, сколько перед остальными мужиками, предварительно направив своё суждение в русло противостоянию колхоза.

– Ведь жили же русские крестьяне без колхоза, да и не плохо жило трудовое крестьянство! – вставил своё слово о колхозе и Василий Ефимович.

– Ну, а если и были какие неурядицы, и неполадки так их можно отнести за счёт неграмотности и невежества, – поддержал Василия, Фёдор.

– Если в колхоз всё село затянут, то хорошего не жди. Это будет та же эксплуатация только в более бессовестной и уродливой форме, с точки зрения начитанности, – выска-

зался Фёдор перед мужиками.

– Раз у них у товарищей-то написано пером, то видно, уже не вырубешь топором, – заметил Николай, имея в виду планы партии о коллективизации, о которых во всю ширь заговорили газеты, а Николай-то, изредка, а всё же их почитывал.

– Ты Николай Сергеевич, зря-то и необдуманно не высказывайся, если в голове не хватает реально поразмыслить, то вперёд других с языком не суйся, а то себе навредишь, да и людей введёшь в заблуждение, – угрожающе заметил Фёдор, Николаю, страстно не любивший того, кто высказывается за колхоз.

Эти с Фёдором слова пообидели Николая и он, присмиривши, привалившись к колесу телеги, стал закуривать, нарочито громко зашелестел вынутой из кармана газетой, полосуя её на закрутку.

– В писаниях-то они много обещают колхозу-то, обрисовывают как рай земной, а по-моему, в колхозе будет полная неразбериха и насилие, ведь правильно же говорится: «Всякая власть, есть насилие!» и «Есть власть имущие и есть жертвы!» – эти слова недаром кем-то высказаны! – оповестил Фёдор мужиков, о изречениях о всякой власти, которая существует в том или ином государстве.

– Да неужели русский народ, его трудовое крестьянство, так прогрешило, что с ним так вероломно хотят поступить? – мечтательно заметил Василий Ефимович. – И, по-моему, в

этом самом колхозе будет полная кутерьма, а всякая кутерьма для жуликов – пожива! – добавил он, рассуждая о своих предположениях о колхозной жизни.

– Да, пожалуй, в колхозе-то жизнь-то будет кому «мца», а кому и «бя»! – под общий смех мужиков, заметил Иван Федотов, до этого всё ещё молчавший, ждал подходящего момента высказаться.

– И тогда подхватишься, а будет близок локоток, а не укусишь! – тряся бородкой хихикая добавил Иван.

– А нос ближе локотка-то, а его тоже не укусить! – для шутки вставил своё слово Николай, осмелев от общего смеха.

– Это в колхозе-то будет тем хорошо у кого в хозяйстве нет ни шиша. Им терять-то нечего, они только и глядят как за чужой счёт прокатиться!

– Нет, как хотите, мужики, а я гнуть свою спину на людей и стоять перед начальством на лапках не согласен! – высказал свои конкретные мысли насчёт колхоза Василий.

– Да, тяжела наша крестьянская работа, зато сладок хлеб, и то за то, что каждый вершок земли пропитан нашим мужичьим потом, – длинно и многозначительно высказался Иван Федотов о мужике-крестьянине.

– Вот ты правильно шабёр сказал, что мы свою кормилицу землю поливаем своим трудовым потом и зная, что это в пользу для себя, а в колхозе-то разве станешь так трудиться, ведь там всё не моё, а чьё-то! – высказал свою философию

Василий.

После Василия, философскую речь повёл Фёдор:

– Да, так и хочется сказать, что на нашу матушку Расею напозают какие-то вражьи козни, и не миновать русскому народу испытать Танталовых мук.

– Дядя Фёдор, это что за муки? – спросил Митька воспользовавшись небольшой паузой в речи Фёдора.

– А это вот что за муки. Древний лидийский царь Тантал осуждённый на вечные муки, он стоял по горло в воде, под деревом с плодами, но не мог достать, ни плодов, не мог и попить, цепи не давали! Вот и в колхозе, пожалуй, так будет, всего будет полно, а поесть хрен дадут! А всё из-за того, что религию в ноги замкнут, а без религии христиан в трубу загонят! Ведь были же такие в древности времена, когда непокорных христиан, пытали и казнили, говоря: «Верующий бездушное существо!» А что касается колхоза, который планируют построить, так это от бога непозволительно, колхоз, это подобие современной Вавилонской башни! Ведь от бога непозволительно мужчине-отцу, вскармливать своего ребёнка своим молоком, хотя у него, как и у матери есть сосцы, а богом это запрещено. Первый человек, древний Адам прожил на земле 930 лет и по повелению божию он утаил, ни разу не обмолвился своей жене Еве, о том, что он вскормил её своим молоком. И открылся только своим сыновьям, после смерти Евы. Бог лишил мужчину способности воспитывать своих детей молоком, а сосцы на его теле оста-

вил в знак древнейшего события.

Это философское изречение Фёдора, мужики слушали с большим интересом, завидуя его начитанности познаниям. Он высказывал эти речи перед мужиками, с намерением чтобы у них не было даже помышлений о вступлении в колхозную жизнь. Николай же Ершов, толи из-за своего беспечного характера, толи из-за своего невоздержанного языка тут же после длительной речи Фёдора промолвил с наивностью:

– Как не страшен колхоз, а всё же нам его не миновать братцы!

За это на него ополчился Фёдор.

– Ты Колюк, скудно мыслишь, поверхностно рассуждаешь и с тобой, видимо толковать о деле бесполезно! – И стуча кулаком по ободу колеса телеги, добавил, – вот колесо-то отзвук даёт, а твоя голова на это не способна!

– А я, Фёдор Васильич, стал какой-то забывчивый, где пообедаю, туда и ужинать попасть мечтаю! – с детской наивностью отшутился Николай.

– Николай Сергеевич, ты помнишь, мы с тобой вон там на Моховом-то болоте охотились? – чтобы переменить тему разговора спросил Митька.

– Как не помнить! У меня память-то ещё не совсем отшибло. Я тогда всё болото излазил, а раненую мной утку так и не нашёл, прямо из-под носа утка куда-то улизнула! – сокрушался о своей тогдашней неудаче Николай, и увлечённо продолжал. – А однажды, я один охотился в поле око-

ло перелесков. Хоря с лаской подстрелил. И случись тогда со мной непростительная каверза, только вошёл я в перелесок для отдыха, гляжу на сучке глухарь во всей своей красоте сидит и меня видимо не видит. Я цап за ружьё, а патронов-то «хрен ночевал и варезки оставил!» – все патроны на хоря и ласку поистратил. Вот уж я тогда проклял сам себя, боюсь как-бы это самопроклинанье наружу не выползло! Я ведь мужики, не только охотник, я и рыболов. Не раз сюда на реку Сережу с удочками хаживал. Вон! Под той ёлкой моё излюбленное место, щуки там клюют – успевай потаскивать! Но однажды опять-таки каверза. Я на крючок вот такущий, щучью приманку насадил, а попался ёрш! – под общий смех мужиков, хвастливо восхвалял свои охотничьи–рыболовные добычные качества Николай.

– Смех-то смехом, братцы-мужики, а мне сегодня вот сюды на обед, баба видимо, полунасиженных яиц сварила и положила в кошель. Я давеча их разлупаю, а они какой-то желтизной прыщут, того гляди из-под скорлупы-то цыплёнок голову покажет.

– А ты бы не ел их, – посоветовал Николай Митька.

– Ишь ты какой! Небойсь не поемши-то плохой из меня работник будет, а всё же пашня, особенно уже в ночную смену с бабой. Хотя яйца-то и полунасиженные, а я их всё равно все съел, только посолил покруче, чтоб желудок не жаловался.

– Ну и сколько же ты этих яиц жамкнул? – спросил его

Иван Федотов.

– Целый пяток, да пяток с картофельной начинкой, величиной с лапоть. «Так что сыт откуда съел полпуда!» Бог напирал, никто не видал! Ну уж, а за бракованные яйца, я уже свою бабу накажу.

– Ты ей выговор с занесением на красную доску вмаж! – шутиливо посоветовал ему Митька.

– Нет, я ей уже красным карандашом по чёрному месту прочерчу! – под общий весёлый смех мужиков закончил свою речь Николай.

– Ну, мужики, пообедали, отдохнули побаями, пошутили, пора и за дело, вон уж солнышко-то давно с полден свалилось! – с потяготой вставая с места проговорил Иван.

– Да, пора и за лукошко браться, рассеивать гречиху, – отозвался Василий, развязывая мешок на телеге.

Троица и забавы. Санька и петух. Николай Ершов

В Троицу, после обедни (а троицкая обедня, по церковным канонам, самая длинная в году), люди сытно пообедав в праздничных нарядах, из изб дружно высыпали на простор улиц. Погода стояла по-весеннему тёплая и от цветения садов по всему селу разносились пьянеющие запахи черемухи, яблонь и сирени. Троицын праздник без выпивки не бывает, а выпивка в меру всегда исток веселья. На улицах появились первые подвыпившие люди, где-то за озером призывно заиграла гармонь. Всюду парни и девки разнаряженные в радужные краски нарядов, как луговые цветы разукрасили улицы села. Парни для смелости, успели уже подвыпить, а девки церемонно, рассевшись в самодельных садах из воткнутых в землю берёзок под окном, для веселья угощались слабенькой самогонкой и брагой. Весь первый Троицын день прошёл в степенном праздничном весёлом времяпрепровождении. К ночи село угомонилось, накануне «Духова дня» разгуливать грешно и не прилично. На второй день праздника, после обедни, которая отошла сравнительно раньше, опохмелившиеся и напившиеся изрядно люди, шумными толпами запрудили улицы села. По селу на разных улицах его мелодично выигрывали голосистые гармонии, резали воздух деви-

чьи визгливо-натужные песни. Где парни с девками там и ребяташки, а где степенные пожилые люди там и молодой народ... И, кто как и в чём своё веселье проявляет: кто хвастался, что много выпил и не пьян, кто лишнего подвыпив беспомощно голозиться в придорожной пыли, а кто своими ухищрёнными выдумками забавляется.

У Савельевых петух-драчун, он всех соседских петухов загнал в подворотни своих дворов и победоносно разгуливался с курами приближённых дворов. Санька, ухитрившись поймал петуха напоивши его до пьяна и вышел с ним на улицу, чтобы показать петушиное искусство в драке. Ванька со стены сорвав зеркало приволок его сюда же на улицу. А развесёлая толпа тут как тут. Перед опьяневшим петухом, который не терпит присутствия вблизи соперника, на лужку поставил зеркало. Завидев в зеркале своё изображение и приняв его за соперника, с криком, разъярённый петух, агрессивно и отважно бросился в драку, бив крыльями и царапая по стеклу зеркала. Толпа от восторга наслаждалась зрелищем, хохотала. Некоторые от смеха поджимая животы показывались по траве. А петух, видя своё отображение в зеркале и прижимая своё-же трепыхание крыльями за бой соперника с новой силой и азартом лихо бросался и бросался в драку, скрежеща шпорами по скользкому стеклу. Толпа изнеможено от удовольствия ухала.

– Ха-ха-ха! Го-го-го! – оглашали всю улицу шумом.

По дороге улицы, из гостей от кума, который проживал на улице Слобода, Николай возвращался навеселе, и чтобы изобразить себя изрядно выпившим он нарочито пьяно шатался и ногами вывёртывал такие замысловатые вавилонские загибульки, что невольно привлёк внимание наблюдавшей петушиный бой толпы.

– Николай, ты что пьяный что ли? – с весёлой подковыркой окрикнул его Михаил Федотов.

– Да есть немножко, видно я без осторожности сильновато на пробку наступил, вот меня и качает, – как всегда с похвальбой отозвался Николай.

– А ты бы поосторожнее наваливался, – заметил ему Ванятка Поляков.

– Да вить к куму в гости попадёшь, он трезвым не выпустит! – хорохорился Николай. – Зайду вон к давнему моему другу Митьке! – проговорил Николай, и направился к дому Кочеврягиных.

В бесчувственном от опьянения состоянии, развалившись на завалинке лежало полуживое тело Митьки. Как только Николай, приблизившись, вцепился руками в Митьку и стал его тормошить, как вдруг где-то под крыльцом грозно зазвенела цепью Митькина собака Барбос. Барбос, сорвавшись с цепи, мигом выскочил из-под крыльца и остервенело, оскалив зубы, с яростным лаем набросилась на Николая. Николай опешил, испугавшись собаки хотел было убежать, трус-

дой побегал на дорогу. Тут-то и произошло то, что для Николая явилось болью и позором. Барбос, настигнув отбегающего Николая цепко ухватился зубами за Николаеву овтоку и рванув вывалил у Николаевых штанов полштанины. Подликующий, охающий рёв смеха толпы, Николай остановился и созерцая то, как Барбос с лоскутом его штанов победоносно «Не тронь моего хозяина», убежал к своему дому. А растерявшемуся от такого исхода, болезненно морщась растирал ладонью укусанное место на ягодице, на которой через «окно» в штанине виднелся багровый полукруг собачьего укуса.

– Что в черти хохочите, у человека горе, а вы злорадствуете! – укрощая пыл неуместного смеха, проговорил на шум, вышедший из дома Фёдор Крестьянинов.

– Видно сами в такой просак не попадали вот и смеются над чужой бедой! – растерянно проговорил Николай, загоразживая ладонью голое тело.

– Тебе Николай, может штаны вынести, чтобы бесстыдно до дома-то дойти? – предложил свою услугу Фёдор.

– Нет, Фёдор Васильич, спасибо, не надо, я и так доплюхаю.

И Николай, прихрамывая на одну ногу медленно потащился по дороге, не снимая ладони с прорехи на своём заду. Разъярённая самогонным угаром и смехом, толпа долго сопровождала Николая повальным хохотом, поджимая животы, предстерегаясь как-бы не развязались пупы.

Возвращение Федьки, его знакомство с Дуней

Федька Лабин, вновь в село явился накануне Троицы. Возвращаясь из Крыма, где он был на излечении панариция, во время пересадочного периода на Курском вокзале, случайно встретился с Яшкой Дураковым.

– Ба-а! Кого я вижу, – воскликнул Федька, завидя Яшку. – Вот уж действительно мудра русская пословица: «Гора с горой не сходится отменно, а человек с человеком сойдутся непременно!», – по-своему перефразив пословицу, процитировал Федька.

На радостях, они безобидно и беззлобно обозвали друг друга свояками и стали обсуждать своё бытё. Федька на Яшку не имел никакой злобы, а наоборот, за то, что когда-то Яшка подарствовал ему за бесценок продав «Бульдог», из-за этого-то Федька и относился к Яшке снисходительно, да и Яшка на Федьку (из-за испорченной им Наташки, которая впоследствии была его женой) тоже не имел «зуба».

– Федьк, а тогда я всё же сплеховал, допустил промах, – сидя на привокзальном диване, сказал Яшка.

– Какой промах? – настороженно спросил его Федька.

– А помнишь, когда я продал тебе свой бульдог, он бы мне сейчас во как пригодился. Продай мне его обратно? – с

наивностью обратился к другу Яшка.

– Ты что? Опупел что ли? Да он мне нужнее, чем тебе спонадобиться к делу!

Никого из своих сельских не боялся Яшка, а перед Федькой трусил. Продолжать беседу с Федькой дальше, Яшке не было смысла, и он, даже не попрощавшись отошёл от Федьки и вскоре затерялся в суматохе людской сутолоки. А Федька, зайдя в привокзальный буфет закупил пачку папирос «Трезвон» и заказав три стакана чая с булочкой, важно расселся за столиком. Чтобы изобразить из себя важную персону, и чтобы люди не подумали, что у этого достопочтенного гражданина, в кармане денег осталось чуть-чуть добратся до дома (он ехал транзитно), он закурил и важно развалившись, изо рта откуда поблёскивал золотой зуб, пускал замысловатые кольца дыма. Сидя здесь, в ожидании своего поезда, на Нижний Новгород, Федька располагая временем, никуда не выходил, а время препровождал здесь в помещении буфета, тем более, что его никто не имел права согнать с занимаемого им стула, ведь всё же он покупатель, а не просто занимабель сиденья, на что указывало три стакана, заказанных им, стоящие перед ним на столике буфетного зала.

Явившись в родное село, Федька первым-перво, пристрастился к выпивке, благо был двухдневный Троицкий праздник. Первый день он, напившись изрядно провёл время с товарищами-парнями. На второй день искал где-бы опохме-

литься, а башка трещит вот-вот расколется. Федька зашёл к своему другу Гришухе, спросил:

– Нет ли какой хаки опохмелиться?

– А что это за хака? – спросил его Гришуха.

– Ну, денатурки по-вашему!

– Имею про запас для лечения, – вступила в разговор Гришухина мать.

– Давай её сюда! – бесцеремонно попросил Федька.

– Так её же пить нельзя, а только на растиранье, видишь, на бумажке-то череп и две косточки нарисованы, и слово «Смертельно!» написано, – хотел урезонить товарища Гришуха.

– Гм, чудачки. Деревенщина лапотная, этот рисунок на бутылке правильно понимать надо. Вот гляди, что здесь нарисовано, череп – это значит, содержимое бутылки благодатно на череп действует, значит кровь по всему телу разгоняет и косточки разминает, – с чувством знатока, самоуверенно, с весёлой улыбкой пояснил Федька о хаке.

– А ты говоришь пить нельзя! Давай скорее стакан и воды холодной ковш.

– Да ты закуси хоть вот огурцом! – предложила ему Гришухина мать.

– Я никогда не закусываю, не заедаю, а что толку, пить и закусывать, пусть немножко в горле подерёт! – С чувством заядлого пьяницы проговорил Федька. – А ты Гришух, что мало выпил?

– Я что-то не хочу, уж больно она противная.

– Кто не хочет пить, того будем бить! – шутливо заметил Федька. – Спаси мою душу пиковый валет во имя виновной красотки! – продекламировал Федька слышанное от кого-то изречение.

По мере того, как стал пьянеть, Федька ещё пуще развязал язык, и он стал к делу и без дела высказывать свои любимые заученные на стороне фразы

– Как в аптеке, так и тут. Сорок фунтов так и пуд. Удивился бы весь люд, в бане парится верблюд.

– Федьк, а ты где пропадал, на заработках был что-ли? – спросила его Гришухина мать.

– Эх, тётка Пелагея, где я был там уж меня нет, а что касается заработка, получил получку я девяносто два рубля, я девяносто на пропой, два рубля послал домой! – шутливой песенкой отговорился Федька.

И вправду, Федька, работая в Астрахани на заводе, вспомнив о доме не об отце, а об матери, и решил ей послать денег червонец, чтоб всё же помнили и не забывали дома, что где-то существует их сын Феденька. По приезде домой, как только он вошёл в родной дом, то перво-наперво осведомился у матери:

– Получала ли ты мои деньги, новенький червонец, который я специально подобрал чтобы он не помялся в дороге, я его послал по почте тебе.

– Получила, получила, спасибо сынок, что вспомнил! –

отозвалась Федьке мать, пряча от него слёзы радости, что её сын, постранствовав снова вернулся домой.

И вот теперь в доме Гришухи, когда речь зашла о деньгах, Федька самозабвенно вспомнил, что в кармане у него деньги вывелись, он запел:

– Всюду деньги, деньги, деньги, всюду денежки друзья, а без денег жизнь плохая, не годится никуда!

Пропев песенку о деньгах, Федька закурил и видимо не от сласти во рту, начала шматками плевать на пол.

– Ты что куришь? – спросила хозяйка.

– Сладко! – с довольством ответил Федька.

– А что же плюёшь?

– Гадко! – с ухарством засмеялся Федька, широко расхлебав рот скаля своим золотым зубом. – «Пионеры юные, у них башки чугунные. Сами деревянные черти окаянные!» – вдруг пропел Федька, показав своё искусство в пении где-то услышанных частушек. – «Колхознички – шпана, на троих одна штана. Один носит, другой просит, третий в очередь стоит!» – пропел Федька Кольки Кочеврягина сложенье.

Одним словом, по всему видимому, Федька, побывав на стороне и всего наimalsя, выбился в люди и из себя корчил такого интеллигентного парня-жениха, ухаря, что и не подступиться, его разговор свысока, льстивые слова и золотой зуб пленили девок.

– Это чья такая красотка по улице идёт? – метнувшись к окну спросил у Гришухи Федька.

– Дунька Булатова! – ответил ему Гришуха.

– Вот уж действительно красива и постатна, кровь с молоком. Да лакомый кусочек, настоящий флердоранж, – мечтательно залюбовался Федька Дунькой, – надо взять её на мушку! – позамыслил он.

Сиротка Дуня Булатова жила в доме двоюродной сестры Анисьи. Дуня росла и наливалась, как шафранное яблоко в саду. Краситься-румяниться, как некоторые девки, ей не было никакой надобности. Щёки её были и так сказочно румяны. Брови чёрные, как распростёртые крылья сокола, глаза тоже чёрные, как жуки, губы алые как вишня, и коса сзади до пят. Она в селе прославилась самой красивой девушкой, а ей всего пятнадцать лет. Про таких говорят: «Взглянет, как рублём подарит!» Её хвалили ни только мужики, и увлекались ею парни, но расхваливали и бабы. С дальних концов села, не знающие Дуню бабы, допытывались у Дуниных соседак:

– Она как, сродни Анисье-то?

– Двоюродные сёстры – вот как! – отвечали им.

– Ну-у! – удивлялись несведущие бабы.

– То-то они с Анисьей-то, харями-то, как две капли воды схожи! Лицами-то они похожи, а карахтирами – врозь! Анисья-то уж больно скромна, а эта – смела и взбаламошана! – характеризовала Дуню Анна Крестьянинова.

– Карахтир-то ладно, да на лицо-то больно гожа! – восхищались Дуниной красотой бабы.

– Да она всем взяла, что красива, что покатна, что сме-
ла! – хвалила Дуню и Анна.

А Дуня, не замечая людских похвал, подрастала и с каж-
дым днём наливалась, и полнела. За последние полгода, её
маленькие, словно вороночные оттиски на пшеничном те-
сте груди, стали требовательно выпирать из-под кофточки.
Моясь в бане Дуня по нечаянности, всё чаще стала задевать
руками за торчащие пуговички сосков груди, значительно
полнел и раздавался у неё и зад.

Вечером в этот праздничный Духов день, Федька решил
познакомиться с Дуней. Гармонь на плечо, кепка над чу-
бом набекрень, для пущей красоты он в кармашек костюма во-
ткнул кисть цветущей сирени, кисточку цветущей черемухи
он прикрепил на кепку. И, в таком обворожительном виде
парня-жениха Федька, ухарски подкатился к Дуне.

– С вашего позволения, с моего позволения разреши-
те вас под крендель взять и познакомиться! – слащаво-льсти-
во заговорил Федька с Дуней. – Меня зовут Федя, а вас как?

– А меня по-просту Дунька!

– Ну вот и прекрасно, значит мы уже и познакомились! –
подыгрывая на гармони какую-то развесёлую мелодию и са-
модовольно улыбаясь нарочито показывая Дуне свой золо-
той зуб. – А теперь, не теряя много времени, нам с тобой
надо приступить к практическим вопросам. Перво-наперво,
нам с тобой надо несколько удалиться от посторонних глаз.

Дуня покорно и по-детски, доверчиво побрела за ним.

– Ну, а теперь с нашего общего желаньица разреши тебя поцеловать! – и Федька, не ожидая на это согласия, изловчившись смачно чмокнул Дуню в губы. – Ну вот, с сегодняшнего вечера мы с тобой будем всегда гулять вместе, не возражаешь?

– Я согласна! – сама не зная, что говорит, с наивностью ответила Дуня.

– Только чур, давай договоримся, чтобы ни с кем больше не встречаться, а то, на этот счёт у меня правила жёсткие. Я очень ревнив и не допускаю измены.

Федька не любил с девкой гулять в сухую, он как ха-халь добивался от неё или крепкого наслаждённого поцелуя, или... и вот сейчас не допуская проволочек, он приступил к обработке, очередной его жертвы – Дуни. Он всегда начинал с льстивых речей от любезности, от чего девки растаивали.

– «Во всех ты душенька на рядах хороша!» «Я вас люблю, и вы поверьте, я вам пришлю привет в конверте!» «Для вас и шляпа с нас!» – лебезил он перед Дуней.

Но ему было не до комплиментов его, невтерпёж, пленили колыхающиеся и светлячками отсвечивающиеся (память о матери) серьги, в Дуниных ушах, её приятно-красивое личико и остренькие груди-ягодки так нахально вызывающе выпирающие из-под кофточки, до безумия дразнящие его и создав в нём такое неудержимое желание ухватиться за них.

– Я ведь не с каждой девкой гулять стану и не каждую

удостою своим любовным поцелуем, так что считай Дуня за счастье, что я с тобой решил проводить время, – самовосхваляюще и нахально ценил своё достоинство Федька, отчего у Дуни даже поперхнуло в горле, она как-то неестественно кашлянула, от натуги даже лопнула у трусов резинка.

– Отвернись! Что ты пялишь zenки-то, бесстыдник, или не видывал, как трусы поправляют! – с этими укрощающими Федьку словами, Дуня засовестилась и стеснительно поспешила спрятаться за бревенчатой стеной амбара.

– Федьк, ты с кем тут был? – спросил Санька Савельев, разгуливающийся с Наташкой и случайно набрѣсши на Федьку.

– Я да тень моя! – без всякого возмущения, ответил Федька улыбаясь. – А вы что бродите, себе пристанища не сыщите, и людям в любовных делах только мешаете! – выражая недовольство, с укоризной высказал досаду им Федька, а сам склонившись над своей гармонью тихо и трогательно наигрывал вальс.

Дуня же, поняв и разгадав нечестные намерения Федьки, воспользовавшись его разговором с Санькой, тайно вышмыгнув из-за амбара, удалилась растаяв в ночной темноте.

Федька и Крым. Разлад с Дуней

Впервые получивши неудачу, Федька домой пришёл рас-терянный и злой. На лице у него полыхала краска первой неудачи. Улёгшись в погребушке на койке спать, он до самого утра не мог заснуть, он в голове, в деталях обдумывал свою оплошность, как это получилось, что из рук ускользнуло такое сокровище. Во сне ему снилось, повторение его пребывания на юге. Проснувшись вставать, он не спешил, ему вспомнилось, как он был невольным свидетелем достойной воспоминанию сценки в зале привокзального буфета, когда он ожидал своего поезда на Курском вокзале. Федьке детально вспомнилось всё, как это было! В углу зала, около буфета деловая атмосфера, буфетчица торгует, а пассажиры, вплотную прижавшись к стеклу витрины, стоят в очереди за тем, чтобы кое-что купить в буфете, чтобы перекусить. Очередь молчит, в большинстве говорит только буфетчица, в белой накрахмаленной повязке на голове в виде колокольни Ивана Великого. Передний крайний в очереди среднего пошива гражданин делает буфетчице заказ:

– Налей-ка мне 200 гр. вина, приплюсуй бутылку пива, на закуску свешай 50 гр. колбасы, положи яичко, ещё кусочке хлеба и пиз...ц! – машинально, видимо, для украшения своего заказа, добавил он.

подавив в себе кривую улыбку, появившуюся было на

лице, буфетчица, отпустив что заказано и рассчитавшись с этим клиентом, машинально спросила следующего покупателя:

– А вам что?

– А мне тоже самое, только без пиз...ца! Потому что я иностранец, и не знаю с чем едят это кушанье.

Буфетчица удивлённо взметнула глазами, настоль странного клиента. Её одолевал приступ смеха, но она для приличия сдерживала себя, чтоб нескромно, не расхохотаться, стала отпускать покупателю то, что он заказал. Когда было всё поставлено перед этим странным клиентом, буфетчица назвала сумму, причитающуюся с него денег. Сумма была точь-в-точь такой же, как и с предыдущего покупателя. Весьма возмущившись обчётом, иностранец с укором вступил с буфетчицей в разговор.

– Как-же так?! – негодовал он. – Гражданин, заказывающий передо мной, взял тоже, что и я и в добавок брал ещё пиз...ц, я же от этого дополнительного кушанья отказался, а деньги с меня хотите взять такие же, как и с того? Это же явный об счёт покупателя! – с горячностью возмущался он. – Вы хоть нас иностранцев пощадите и не обсчитывайте. Мы, в Америке с этим явлением совсем не знакомы, и у нас в кошельке на учёте каждый цент.

Буфетчица, видя, что перед ней не обычный русский покупатель, а иностранец, но хорошо владеющий русским языком, совсем опешила и от растерянности не сразу нашлась

что ему отвечать.

– Видите-ли, какое тут дело-то! – вступила она с ним в объяснение, стараясь быть вежливой и тактичной. Жестикуюлируя руками, она старательно стала ему объяснять. – Гражданин, который был впереди вас, заказывал то, что и вы, и в добавок «то» – ну сами понимаете, от чего вы разумно отказались. Так вот, «того-то» у нас в продаже, просто-напросто не бывает, и я ему естественно «то»-то не отпустила. Поэтому-то сумма с него и была такой же, как и с вас. Я вас ни-сколечко не обсчитала!

– Тогда другое дело! – облегчённо проговорил иностранец. – А то у вас в России, такое сплошь и рядом бывает.

Рассчитавшись за заказанное, он забрал его и направился к столам, ища место где-бы усесться. Буфетчица только теперь дала волю своему смеху, она так расхохоталась, что в смехе тряслось всё её тучное тело и невольно повалилась на ящики с пустыми бутылками из-под пива. Её тело так неудержимо тряслось, что казалось, впору на неё набивать обручи, чтоб не рассыпалась! Люди, стоявшие в очереди, тоже весело засмеялись, они оживлённо зашевелились от неудержимого смеха:

– Ха-ха-ха! Го-го-го!

Только один лысый, деревенского покроя старичок, нетерпеливо ждавший, когда подойдёт его очередь, с упрёком к публике сказал:

– Да перестаньте хохотать-то дьяволы! Тут жрать, терпе-

нья нет, хочется, а они...

На этом и оборвались Федькины размышления о его странствовании, их оборвала мать:

– Ты будешь нынче вставать-то, время девять часов, а ты всё нежишься. Вставай!

– Не нарушай моей инерции! Ты видишь – я лежу и сплю, свои мысли привожу в порядок, – деликатно отговорился Федька.

Мать ушла. А Федька тут же со сладкой потяготой всем телом встал с постели, направился в дом. Умывшись, он долго расчёсывал свои волосы перед зеркалом, взбивая их в висячий клок кудрей. Наспех позавтракав, Федька выпорхнул на улицу.

На исходе праздника в честь Троицы в этот день, людей на улице было меньше, чем в первый день, и чем вчера, но опохмеляющихся было предостаточно. Ботинки хромовые, брюки клёш навывпуск, грудь колесом. Федька ходит по селу козырем, в дело и не в дело скаля в смехе рот, демонстративно показывая свои золотые протезы. Вечером этого дня, Федька решил во что бы то не стало наверстать упущенное вчера. Выпив для смелости водки грамм двести, оставив дома гармонь, он по-ухарски выскочил на улицу и растаял в сумеречной мгле. Дуню ему долго разыскивать не пришлось, она вместе со своей подружкой Настей, которая, кстати, поджидала своего жениха для свиданки, стояла на Дунаевском

перекрестке и беседовала со своей подружкой. Федька бесцеремонно подхватил Дуню под руку и повёл её на берег озера, где обычно разгуливаются влюбленный парочки.

– Ты что, нынче без гармонии на гулянье-то вышел? И меня водишь по тёмным местам? – первой заговорила Дуня, предчувственно, находя в этом какой-то знак.

– А она у меня немножко изломалась! – весело улыбаясь соврал Федька, дрожа всем телом, от близкого соприкосновения к Дуне, которая с детской доверительностью следовала рядом с ним.

Федька, выбрав место уселся на подмосте амбара, рядом усадил Дуню. Разъярившись и не сдержав в себе, было влечения к Дуне, Федька развязано приступил к исполнению своих коварных замыслов. Применив силовые приёмы, он рывком привлёк Дуню к себе и смачно поцеловав её в губы, стал позволять себе дальнейшие вольности, нахально полез ей в груди. Дуня, по-своему, как могла отстраняла от себя злонамеренные действия его рук, стараясь вырваться из его цепких объятий. Он ей на ухо шептал горячие слова о любви, но она стойко не поддавалась. Он до боли крутил ей руки, лез с поцелуями, но она отстраняла своё лицо от навязчивого поцелуя, отводя его в сторону.

– Что ты какая, что нельзя до тебя дотронуться. Что тебя никак не уломаешь, и что ты меня до себя не допускаешь, – бессвязно, пыща всем телом, бормотал он над её ухом. – Целовать-то вроде позволяешь, а руку мою до грудей не допус-

каешь! – злорадствуя пыхтел Федька, стараясь повалить Дуню на помост.

– Ты, пожалуй, ещё куда рукой полезешь, тебе только поддайся. А кто нахальство захочет применить, тот сам будет посрамлённым! – смело и мужественно предупредила юная Дуня Федьке.

– А я всё же не побоюсь и не отступлю! – самонадеянно проговорил Федька, и с новой силой начал её уламывать.

Она как подраненная уточка, затрепыхалась под ним, всеми силами старалась вырваться.

– Пусти! А то закричу во всю улицу! Тогда тебе попадёт!

– Не шуми и не рыпайся! Ещё не было, чтобы от меня ускользали! – наседая бормотал Федька. – Я тебе кошелёк в заклад оставлю! – нахальствовал в усилиях он.

У Дуни от обиды наморщился нос, покосились губы, удивлённо вверх взметнулись брови. И она, собрав всю свою силу, выскользнула из его объятий, вlepила ему такую пощёчину, что раздалось по всему озёрному берегу.

– Вот это да, вот это девка, на звук пощёчины отозвался, где-то вблизи гулявший с Наташкой, Санька Савельев. – Знать ум и сила есть за себя постоять, вот бы все такими были. А то растопыривают свои ляжки и хватай за них кому не лень. А эта видать девка-герой! – с похвалой о Дуне и в назидании Наташке, высказал своё суждение, чтобы ему вняла Наташка...

– ... Ты чего это хорохоришься? – строго и с явной обидой

проговорил Федька Дуни.

– А что? Или разрешить тебе в груди своими лапищами залезть, а там и в другое место проверять полезешь! Проверь не проверяй, а у меня пока всё девичье цело! Так что если имеешь какой злой умысел, то отваливай. Ты сам знаешь, что я тебе не пара, и я знаю, что мне за тобой замужем не быть. И ты со своей гармонью катись от меня горячей колбасой! Хоть ты и гармонист. А у этого гармониста, видать душа со свистом. Гармонь-то хоть звук издаёт, да тебе в тёмных делах мешает. Перед тобой только развались, ты мне плюнешь, да и в сторону. Ваше дело не рожать, обчихвостил и бежать. А нам после расчухивайся. Нет уж! Извини-подвинься! Любить, люблю, а на шею вешаться не стану! Не такая уж я дура, так и знай! Так это что за любовь с твоей стороны, это одно коварство! А если тебе невтерпёж, то взял, да и женился!

– Я бы женился, да тятка супротивничает! – обескураженный таким яростным отбоем нахально врал Федька.

А Дуня, вырвавшись из его цепких рук, стоя невдалеке от него по-куриному ощипывалась, поправляла на себе кофточку и юбку, продолжала, по-взрослому урезонивать его словами и стыдить. Эти колкие и справедливые слова Дуни охлаждающе действовали на Федьку, он постепенно остывал от пыла, но глаза с прежним нахальством смотрели на неё:

– Что устробучил глазищи-то?! Уйди с моих глаз долой! – грубо и угрожающе отчитала она его.

– Значит это так?! – обиженно протянул упавшим голосом Федька.

– Эдак! – выпалила Дуня.

– Ну ладно!

– Ладит да не дудит!

– Выходит, что я понапрасну с тобой столько времени впус-
тую потерял? Ведь я бы с другой скорее облизнулся!

– Иди ищи другую, а около меня шишь!

– А если я ребят подговорю, да стыдить тебя станем? – с
досады о коварных своих замыслах высказался Федька.

– Мерзким средством угрожаешь? Подговаривай – не
жалко! К чистому месту грязь не прилипнет! – героически за-
щищалась Дуня от Федькиных нападках. – У меня, то, что
должно быть у девки, пока всё цело, и до поры до времени
будет сохранено! – с гордостью победоносно заявила Дуня
Федьке...

На другой день вечером, собрал Федька парней ровесни-
ков и подростков, отвёл их в укромное место на берегу озера
и провёл с ними агитбеседу.

– Что же вы ребята, здесь в селе прозябаете, в грязи, да
в непомерной работе валандаетесь. Вот я, например, только
что прибыл с юга, кое-что повидал в Крыму – жемчужине
России, целый месяц на курорте был, вот где лафа, так ла-
фа! Не житьё, а малина! Кормили нас, как на убой, а вре-
мя я проводил только в гулянье и во сне. Выйдешь, бывало,
на берег Чёрного моря, а там на песке, по-ихнему пляжем

называется, этих баб голых валяется видимо-невидимо, иногда глаза режет. И все они голые, только титьки лифчиками закрыты, да вокруг бёдер ну сами понимаете, где, узенькая тряпочка черноту прикрывает. Как взглянешь на эту картину, аж глаза под лоб уползают и дух захватывает. Appetit разгорается, прямо жуть одна!

– А что это за бабы без дела-то там валяются и прохлаждаются, почему не ткут, не жнут и не молотят? – поинтересовался Серёга.

– Ну, как вам сказать, это жёны больших начальников из Москвы. Мужья-то у них должности большие занимают, деньги бешенные получают, а бабам делать нечего, вот они по целым летам на курорт и уезжают. Одним словом, эти бабы с жиру бесятся. Да мало того, что лежат как тюлени на солнышке греются, и им самим-то даже лень повернуться с боку на бок. Большие деньги сулят, по червонцу обещают тому, кто бы нанялся их переворачивать. На песке-то бояться солнечного перегрева. Вот где можно денюгу зашибить, – мечтательно разглагольствовался Фёдка.

– Вот эх, я бы за рубль и то бы нанялся, только бы у барыни понюхать, – раззадорившись на лафу, сказал Серёга.

– Пожалуй понюхаешь, на какую нарвешься, которая рада что её мужик или там парень за ляжки хватает, а иная так лягнёт, что зубы выбьет, так ползвода зубов и вышибет! – словесно укротил Серёгин пыл Фёдка.

– А как ты на кулорт-то попал? – спросил его Серёга.

– Да не на курорт, а на курорт! Эх деревня необтёсанная. Эх ты лапоть на левую ногу! – нелестными словами обозвал Фёдка Серёгу. – Об этом, как я туда попал длительно рассказывать, – уклончиво отговорился Фёдка перед парнями. – Ну, а если имеете интерес всё же расскажу. Работал я в Астрахани на заводе, простыл, заболел, попал в больницу, а там через знакомого врача и в Крым на курорт угодил, вот и всё.

На самом же деле дело было так. Фёдка у отца украл три десятирублёвые золотые монеты, и пыхнул в Астрахань, где проживал его двоюродный дядя. Вначале Фёдка проживался у дяди дармоедом, а потом дядя устроил его на работу в завод подручным слесарем. Проработав больше года, Фёдка простудился. Его положили в больницу с диагнозом панариций – гнойное воспаление пальцев. Лечащий врач, еврей, по основной специальности своей стоматолог, из двух золотых монет вставил Фёдке протезный зуб в щербине (память Миньке Савельева) и две коронки по бокам. За Фёдкину неосведомлённость в вопросе цены золота, врач схлопотал ему путёвку на курорт Крыма. Вот оттуда-то и вновь появился Фёдка в своём родном селе франтом, ухарем и лоботрясом, пока ничего не делал, а только гулял, да на девок охотился...

Ванькина пашня.

Николай Ершов плотник

После Троицы, мужики пахали землю под пар. Ваньку Савельева отец послал в поле допахать два загона, которые оставались недопаханными. Дни стояли солнечные по-летнему жаркие. Земля иссохлась, дождя не было давненько. В воздухе носились полчища слепней – по-деревенски «Гад». «Гад» напал на скотников и стада, и пашущих лошадей, беспощадно и кровожадно жалил. Ванькиного Серого сильно одолевали налетевшие роем слепни и строка, безжалостно впиваясь в кожу. Он беспокойно и буйно топал ногами, сгонял с брюха впившихся паразитов, беспрестанно сильно хлестал хвостом, зубами сгрызал въевшихся слепней в передние ноги, а с недосягаемых мест, он судорожно вздрагивал всей кожей, и этим способом старался согнать с себя впившихся паразитов.

– Не последняя ли в одиночестве Ванькина пашня?

Николай Ершов, управившись с подъёмом пара меньше чем за неделю, в пору междуделья перед сенокосом, решил подзаработать денег, заняться плотником. Он влился в плотницкую артель и работал наравне с молодёжью. При ломке старых изб, взамен которых ставились новые, Николай,

не доверяя молодым плотникам, сам вставал на передний «красный угол» и старательно и задорно шевырялся в чашках угла, осторожно поднимал спрессованные шмотья моха, копошась искал золотые монеты, зная, что в ранние времена при постройке дома или просто захудалой избёнки, хозяева старались (для счастья) в «красный угол» заложить золото.

С желанием подзаработать на расходы, в плотницкую в эту же артель, работающую в Верижках, где уже день проработал Николай, на второй день явился и Митька Кочеврягин. Из уважения, он перво-наперво, со всеми поздоровался за руку, к последнему подойдя к Николаю, Митька, не помнив раньше разладов с ним, с улыбкой протянул руку для здорованья сказал:

– Здорово, Николай Сергеич!

– Нет, Митьк! Я тебе своей руки не подам, а вместо руки могу предложить тебе вот кукиш, на него чего хошь-то и купишь, – дерзко отпарировал Николай Митьке.

– Почему так?! – опешил Митька.

– А так, около твоего дома пройти нельзя, прошлый раз твой Барбос с меня, с пьяного штаны спустил, в разор меня поставил и в стыд на всю улицу ввёл.

– А что же я не видел?

– А ты пьяный валялся, в бесчувствии был. Да и вообще, в недобрый час, мимо тебя и трезвым-то хоть не проходи. Пройдешь, так на второй день жди от тебя, как ты тряхосло-

вие сочиняешь, тебе на лихой язык попасть не мудрено. Нет, видно была раньше дружба, а теперь врозь! – с явной обидой на бывшего друга по охоте высказался Николай.

– Не почаешь чем объешься! – машинально вырвалось в ответ у Митьки. – Ну, как хош, не хош здороваться и не надо! Я на работу пришёл, а не только с тобой здороваться, отходя от Николая заключил Митька.

– Работа работе рознь, и, прежде чем к работе приступить, надо своим бакланом поразмыслить, – многозначительно, и всего скорее относя эти слова в адрес Митьки, но он уже отошёл от Николая и вряд ли их слышал. А чтобы вся артель слышала, Николай громогласно проговорил: – Эх, нас только похвали, да по черепушке поднеси, мы готовы гору своротить! – под общее одобрение артели сказал он.

С час артель работала молча, молчал Николай, молчали и остальные плотники, за исключением деловых выкриков: «Гляди!», «Держи!», «Помоги!»

– Робя! – обратился к артели Николай. – Мы, что-то больно по-ударному разработались, как бы нам к обеду-то не облениться, а к вечеру-то совсем не выдохнуться. Давайте-ка сделаем перекур, да, кстати, инструмент повостим, ты Гришк, точило в поверти, а я топор вострить стану. Ну, плотнички, золотые работнички у кого есть табачок, у того и праздничек, продекламировал перед артельщиками Николай. – Я вчера осьмушку табаку марки «Мужичок», в потребилки купил, так что кому не лень, закуривай! – раздобрил-

ся Николай, вынимая из кармана пузатый кисет.

Мужики окружили Николая разом. Николай с тоской и сожаленьем следил за прогуливающимся по кругу своим кисетом, который на глазах тощал и вернулся к нему изрядно отощавшим. Николай торопко свернул кисет, замотал его тесёмочкой и поспешно всунул его в широченное зевло кармана. Хоть бы чем компенсировать утерю табака, Николай из экономии, ждал кто первым зажжёт спичку, чтоб у него прикурить. Он и сам держал наготове в руке спичку приготовив её к чирканью об коробок, но задерживался зажигать, выжидая время. Невольно мусоля во рту и грызя зубами торчащую изо рта самокрутку. Наконец, спичка в чьих-то руках загорелась и Николай, припав к чужому огню плямкая губами и мыча слова благодарности стал прикуривать, и Николай, и те, кто на «чужбинку» закурили его табаку, куря вскоре все сильно расчихались и до слёз раскашлялись. Это результат «заботы» Николаевой жены Ефросиньи. Она сильно не любила, когда её Николай тратит деньги на покупку табака, и не переносит того запаха палённого копыта, которым разит от мужа, особенно тогда, когда он лезет целоваться. И вот чтобы отвадить Николая от куренья, она тайком, в его кисет с табаком насыпала размельчённого и через сито просеянного куриного помёта. Вот от чего курильщики-то и закашлялись.

Во время перекура, как и обычно у мужиков ведётся беседа, говорить может каждый, кто что знает. Очередь, как и

всегда, на сей раз была за Николаем.

– Вот взять хотя бы наше плотницкое дело, пыша табачным дымком, неторопливо начал Николай. Плотник плотнику розь, у другого из инструмента, один единственный топор, да и тот на топорище по-бабьему насажен. А у меня топор, циркуль и пила-«компаньника», да фуганок с железкой «Лев на стро» дома есть, и двурушник есть.

– Дядя Николай! – а я гляжу, хоть и много у тебя инструмента, а из тебя плотник, как из хрена редька! – под общий весёлый смех, подковырнул его Митька.

– Вот так сказал! Да ты такие мысли с кем обдумывал, ты смотри, такие слова в бане не скажи – черти шайками тебя забросают. А не хош, я не только плотник, я ещё и столляр-краснодеревщик, и такой шкап отчубучу, что вы со своим покойным дедушкой закачаетесь! – с обидой возразил Николай ехидно хихикающему Митьке. – У меня один циркуль чего стоит, такого хорошего гостя у тебя в доме небывало, какой у меня светлый и точный циркуль. А пилу мою «компанионку» ты Митьк видывал, вот она моя кормилица! – расхваливая свою пилу, Николай, разглагольствовался о её достоинстве и добротности. – Она у меня из породистой стали сделана. Её, строй-лесу и дров тьма-тьмущая перепилено, поэтому она, вишь какая узкая стала. Мой покойный дед Елуфим Дементьеич, царство ему небесное, в Нижнем Новгороде на ярмарке её купил. Она ему лет двадцать служила, моему отцу лет десять отработала, теперь мне по на-

следству в кормилицы попала. Когда мне её мой покойный батя при разделе семьи в надел подарствовал, напутственно сказал: «На, Кольк пилу и поминай мою доброту, она почти сама пилит только берись за её ручки и подёргивай!» – под общий смех артельщиков, не зная врал, не знай правду говорил Николай, и продолжал, – И действительно, не пила, а игрушка! Вот поглядите, она от работы и точки вон как вся поизносилась, а ни одного зуба не потеряла. В общем-то не пила, а музыка, – и он, взяв пилу в руки, согнул её колбасиной, сведя ручку с ручкой и подбросил её вверх. Пила взлетела над головами, пронзительно загмыгмала взбешённой змеёй, заметалась в воздухе, взблескивая на солнце и упав зубьями врезалась в землю. – И это еще не всё! – Николай, взяв пилу с земли и демонстрируя музыкальность, он повесил её ручкой себе на большой палец, создав ей свободное вешение ударил по ней молотком. От удара пила, вздрогнув вибрационно задребезжала, музыкально зазвенела, издавая весьма приятные для уха мелодичные звуки. Николай, припав к пиле ухом, долго наслаждённое упивался мелодией своей «кормилицы».

– Вот ты Митьк баишь, я плохой плотник, а ты не знаешь, что я и раньше работал в плотницкой артели Ивана Сергеевича Потёмкина, и большинство всё по верхам. Бывало, как до стропил дело дойдёт, так Иван Сергеевич меня посылает. И вот однажды, дело было в Чернухе, сижу я на самом коньке с топором и ножовкой, а стропилы-то и поехали. Я гля-

жу, мне не минуچه падать, и быть сброшенному со струмент. Ладно я такой догадливый, когда падал сообразил, отбросил топор-то вправо, а ножовку-то влево, а то бы весь изрезался, как пить подать. Так что везде нужна сноровка. Но всё же я тогда напугался не в шутку, головой вдарился и ногу пришиб повыше чиколки, пришлось часика два отлёживаться, лентяю поспраздновать. И весь этот день чувствовал себя не в своих санях зато в этот день вечером, когда мы возвращались из Чернухи домой, сердце во мне замерло почти до самой Осиновки, оно не билось, и я старался пореже дышать, нет конечно, я дышал, только реже.

– Нет Кольк, как ты ни хвались, а по всему видимому из тебя плотник-то получается аховый! Ты и чашку-то в бревне не можешь, как следует вырубить, – заметил ему Петруха Дидов.

– Вот этому указчику нельзя ли посулить хрен за щёку! – отпарировал Николай.

– Дело бают. Хорошее дерево растёт в сук да в болону, а хреновый человек в хрен да в голову! – под взрыв смеха артельщиков, с обидой ответил ему Петруха.

– Дядя Миколай, продай мне токарный станок, он, наверное, тебе не нужен, раз плотничаешь, – обратился к Ершову Митька.

– Я с тобой ничего не говорю, – в задумьи ответил Николай.

– Эх ты, куриная слепота, вялый карась, к нему с делом, а

он выкобенивается, – с недовольством высказался Митька.

– По одной версии я вялый карась, а по другой я колючий Ёрш! – приняв горделивую позу, бойко возразил Николай. – Ну какая важность, что я ворочаюсь, как карась. Но ведь на Святой Руси не все караси, есть и ерши. – с самодовольным достоинством добавил Ершов. – Да и вообще Митьк, нам с тобой играть в бирюльки не к лицу, пускай в них играют дети, а мы с тобой люди взрослые и нам пора делом заниматься, – деловито заметил Николай Митьке.

– А что касается моей физиономии, то перед вами братцы, не в хвальбу сказать, в молодости я был жених-франт. И на лицо-то был приглядчив и одевался всем в зависть, рубаха, вышитая с петухами, штаны из кармазинного сукна, пеньжак из касторова сукна, на голове картуз с пружиной, на ногах сапоги лаковые гармошкой. Но вот самой гармонии не заводил. К музыке таланту нет. Да и без гармонии я по всем статьям был парень-щёголь. Так что в селе все девки мои, так дуром и лезли ко мне. Ну, конечно, насчёт того, ни-ни боже сохрани! Раньше на это строгость была жёсткая, совесть имели, и стыда боялись. Да я и сейчас телом-то вон какой битюк-охлюдок, во мне, такой как вон Митька, влезет и повернётся ни один раз, – хвалебно описывал Николай свою мешковитую фигуру. Да и на фронте-то в империстическую, я был не последним воином. Раз послал нас командир в деревню за картошкой. Зашли в один дом, а там свадьба, мы-да назад, сунулись в другой, а там покойника об-

мывают, мы-да бёжку, и едва накупили, наскаридорили две меры. Хоть и длинная история об моей военной службе рассказывать, а всё же я вам расскажу. Давайте ещё закурим по слатненькой и под общий раскур слушайте. Я родился видно под счастливой звездой и весь век мне везёт как утопленнику. Ещё с детства меня покойный мой отец, в инженеры пророчил, и хотел было меня отдать в ученье в Нижний. Я в своей-то училище, проучился только две зимы. Научился письмишки писать, газетёнки читать и кое-какие, по хозяйству задачки решать. И на дальнейшее ученье что-то не угодил. В призывную пору (из-за пальцев на руке, об этом уже была речь) меня забраковали и в армию не взяли, а потом в 1914 году забрали. На военной службе вскорости (в духе командного состава) мне присвоили младшего унтера. Ну и вот как сами знаете, в армии все военные чины приветствовать положено. Вот однажды я захожу в казарму, а рядовой солдат весельчак как заорёт во всё горло: «Смирно!» сам унтер-офицер Ершов в гарнизон пожаловал! Ну я, конечно, шутку принял, и дал отбой: «Вольно!», сам рядовой, «Вольно! Вольно!», а тот солдатишка возьми, да и скажи: «Хреноват больно!» Мне это показалось за обиду, я и придрался к нему. Ладно меня друзья разговорили, а то я ему хотел «губы» всыпать... Ну и вот, как сейчас помню, дело было как раз накануне праздника Петрова дня. Меня дежурным по роте назначили. Один взвод со своим командиром на сенокос отправили. Ротный-то, по имени Петров на-

зывался, а двое взводных, как на подбор Павлами оказались, и у всех у них, вот совпадение, в Петров-то день, именины. Пир горой справлять задумали, а фельдфебель-то наш, так к ним примазался. Вот мне как образцовому унтеру, и доверили всю двухвзводную роту в дежурство. Узрив во мне деревенскую простоту, и нестрогость во взыскательности, один молодой солдатик, по фамилии Затутыркин кажется, подходит ко мне, и как по уставу положено обращается: «Господин унтер-офицер, отпустите, grit, нас весь взвод в отлучку. Вон мужикам, страсть, как выпить хочется, а мне grit, к девкам позарез понаведоваться необходимо, свербит, терпенья нету». Я смотрю на него и думаю про себя: «У меня у самого-то, от желанья пойти к бабам с носу капает. То ли меня прельстило уважительное «господин унтер-офицер», то ли в это время мне в голову вбрало слепое безрассудство, только я так необдуманно распорядившись на свой хохряк, всем дал команду: «А ну-ка дуйте кому куда надо, только строго предупреждаю, к 12-ти часам ночи, всем быть на своих местах». «Ты только свистни, и мы тут же сбежимся!» отозвались мои подчинённые и скрылись. Казарма опустела, всех, как ветром выдуло. Мы и остались во всей казарме только вдвоём с солдатом Ванькой Хреновым. Он-то по случаю болезни, а я, как неотлучный надзиратель над всей ротой. А Ванька, видимо, позавидовал товарищам-то, куда и болезнь делась, привязался ко мне и хнычет: «Отпусти, grit, и меня, моя, grit, деревня Выползово отсюда совсем рядом, ка-

ких-то вёрст восемьдесят не больше. Я же, чувствуя на себе ответственность за роту, Ваньку решил не отпускать, а вдруг война вспыхнет, тогда мне головы не сносить. А Ванька мне в спину: «Здоровых, грит, отпустил, а меня калеку держишь, и что во мне одном будет толку хоть, и война вдруг откроется?» А я упёрся и Хренова домой не отпустил. Часам к 11-ти, в казарму вкатывается сам «фельд». Я думал, он до самого утра не появится, а его. В самое это критическое время, видимо, черти принесли. Как завидел я его, так и обмер. Он лупанул глазами по казарме-то ни одного солдата, и все койки пустые. Во всём здании только я да Ванька: «Ну, грит, дежурный, докладывай, где люди?» Я отчаянно встрепенулся, откуда только смелость взялась, и давай перед ним отчеканивать: «25 – в кабаке, 25 – в бардаке, 25 – сено гребут, 25 – девок ведут, один Хренов – больной, и то просится домой, что прикажете, отпустить или накормить и спать уложить, а остальные к полуночи все как один здесь будут!» посмотрел он на меня презрительным глазом и пьяно покачиваясь сказал: «Вот завтра будет тебе баня! А в полночь приду и проверю!» И ушёл догуливать к ротному на именины. Все ребята в казарму явились к сроку, а на утро, действительно была баня. Ротный со взводным так меня отчитали, что я чуть в штаны не наклад. Меня разжаловали в рядовые и посадили на гауптвахту на три дня. Вот с того злополучного дня и стал снова рядовым солдатом. Так что, мы знаем эту военную строгую дисциплину, служивали и в командных сферах

пребывали.

– Ну ты Николай Сергеич, видать болтун хороший, на работу вялый, а на язык речист.

– У тебя речь-то сыплется, как пшено из худого портфеля, так и чешешь, так и чешешь, языком-то, словно баба на машинке шьёт! А иной раз такое слямзишь, что уши вянут! – заметил Николаю Петруха.

– Да уж я скажу, как вмажу, у меня слово – олово! – хвалебно отозвался на слова Петрухи Николай. – Эх, закончим постройку этого дома, да и пора к сенокосу готовиться. Я вчера в потребилке купил косу, уже надо испытать, попробовать, будет ли косить-то? – как бы между прочим заметил Николай перед концом перекура.

– Ну робяты, посидели, покурили, отдохнули, послушали, пора и за дело, а то уж солнышко-то на обед зовёт! – сказал Иван, чувствуя себя в артели старшим.

И мужики, артельщики, как по команде вскочили со своих мест, похватав топоры и принялись за дело.

В субботу доделка дома была закончена, хозяин устроил размойку и рассчитал плотников. Получив свою заработанную долю денежную и вкусив два стакана самогонки в честь расчёта, Николай, отделившись от артели, зашел в один дом (всё не с пустыми руками домой), он купил поросёнка, а к поросёнку в мешок поместил приобретенную за пустяк собачонку. Как только он совместил в мешке эти две покупки,

так там поднялся такой невообразимый визг и писк, что было трудно разобрать, кто кого кусает или собачонка поросёнка, или поросёнок собачонку, или же друг друга одновременно. Шагая по дороге, за Николаевой спиной, в мешке происходило что-то невообразимое, концерт не концерт, а наподобие «шарам-барам». Время от времени хмельной Николай мешок перекидывал с плеча на плечо, при этом концерт в мешке усиливался. Придя домой, и вывалив из мешка покупку, Николай начал расхваливаться перед женой, о породистости поросёнка и о достоинствах собачонки.

– Ну, поросёнок-то туда-сюда, а собачонок-то на что?

– В хозяйстве все пригодится, охотница вырастит!

– А что уж ты и деньги-то в мешке носишь? – упрекнула Ефросинья мужа, заметив, как вместе с животным из мешка выпала пятёрка денег.

– Уж не Иосиф ли «прекрасный» положил мне денег-то в мешок, я вроде сам-то не клал, – мечтательно проговорил Николай и полез к жене с намерением поцеловаться.

– Да пошёл ты от меня чёрт пьяный, от тебя разит самогонкой, как из нужника! – отстранилась от Николая Ефросинья.

– Ну вот, сделай для жены уваженья, денег заработай да принеси, скотины полдвора накупи, а она и встретить мужа, как следует не может! – Эх, деревня лапотная, бабьё не обтёсанное, – укладывая себя на кутник, полупьяным языком бормотал Николай засыпая.

Сенокос

В это лето Савельевы сенокосили в лесу за селом Вторуском, на Мастрашке. Или из-за того, что село поделено на группы и часть его вступила в колхоз, только уж не стало того всё народного и весёлого сенокоса, как это было раньше. За всё трехдневное время сенокоса, на Мастрашке Савельевы встретили всего двоих сенокосцев-односельчан. Ивана Трынкова со своей Прасковьей, и шабра Ивана Федотова, с Санькой. В последний день сенокоса, когда уже всё сено перевезено домой. Савельевы, Федотовы и Трынковы навивали на воза последние остатки сена. Погрузивши сено в воза перед тем, как тронуться в путь, все сенокосцы с возами собрались у потухшего костра около шалаша Савельевых. После упористого труда и перед дорогой, решили подкрепиться пищей и доесть всё, что осталось. Открывши кошелю с остатками провизии расселись на скошенном лугу под раскидистой берёзой. Всяк ест своё добирая последние кусочки.

– Пап, мы чего будем есть-то? – обратился Ванька к отцу раскрывая кошель.

– Вон бери остатки хлеба и мажай в оставшийся в горшочке мёд!

– Прошлогодним летом на сенокосе, мы вон со своей Прасковьей подпоследки так обесхлебались, что под конец жамкнуть было нечего, ни хлеба, ни картошки, зато так обес-

силили, едва до дому ноги дотащили! – жуя хлеб, и прикусывая с зелёным луком, уставшим голосом проговорил Иван Трынков.

– А мы с осени-то, думали, что у нас хлеба-то за глаза хватит, хватъ Дарья пошла в мазанку за мукой, а там хрен ночевал и варежки оставил! – вот и приходится не хлебы печь, а вот пирогами довольствоваться! – ухобачивая пирог с картофельной начинкой размером с лапоть, хихикая в ядрёном смехе, высказался Иван Федотов. – А как, по-твоему, шабёр, нынче, урожай-то будет? – как бы между прочим спросил Василия Ефимыча.

– По-моему средний, рожь зацвела со середины колоса, если бы снизу, то и урожай низкий, а если сверху, то и урожай ожидай высокий. Да оно сами видите отколь у этом году высокий-то урожай ждать, когда засуха, дождя нет и нет, а под налив его надо бы. По небу ходют пустые с обсосанными краями облака, от таких облаков дождя не жди, вот обильного-то урожая и не будет, – с чувством знатока высказал своё мнение об урожаях Федотов.

– По неволе в колхоз пойдёшь, – улыбаясь вставил своё слово Трынков.

– Нет! Все равно погожу торопиться! – хохотнул Федотов. Тронулись в путь. Впереди всех поехал Трынков на полувозке сена, квасной бочкой распласталась Прасковья, впереди с вожжами в руках восседает Иван, за Трыновыми следом движется Федотов воз, на котором сидит Санька, Иван-же

из жалости лошади, идёт сбоку воза. Обоз замыкает полувазок Савельев, отец правит лошадью сидя впереди, а Ванька расположившись на гнету, сидит сзади. Не нравится Ваньке здешний сенокос, лес здесь хвойный, какой-то угрюмо-печальный, а бестолковые круговые полёты конюжков, с их унылыми выкриками, наводили на Ваньку тоску. Наконец, выехали из лесу. Трынков воз опустился в русло реки Сережи и в самом водотёке лошадь заупрявилась, встала и ни с места.

– Это наверно из-за тебя Прасковья, ведь ты вон какая квашня, в тебе весу пудов восемь будет, вот лошадь-то и не берёт! Слезь и выедем! – с присущей ему простотой предложил Иван жене.

– Слезь сам! А меня не тревожь, – закатываясь в смехе возразила Прасковья.

– Так-то мы с тобой до вечера отсюда не выедем! А вон сзади нас люди-то ждут, и вон доложак собирается! – урезонивал жену Иван.

– Хоть до ночи приедем, а не слезу, в воду-то? – упорствовала Прасковья. – Слезай сам, да возьми лошадь-то под уздцы, она и вывезет!

Пришлось Ивану самому слезать с воза и по колено в воде хлопотать около лошади. Перво-наперво он отвязав повод, дал возможность ей попить, она с жадностью припала к воде, а когда она напилась и Иван взяв под уздцы прикрикнул:

– Но-о милая, вывози! – лошадь дружно натянула гужи и воз выволокла на берег.

– Ну что, я баила, что не из-за меня! – подтрунивая над Иваном, с возу оскалилась в смехе Прасковья. – Да видно, голова лошадь-то попить захотела, вот и встала, – оправдываясь спокойно проговорил Иван.

Выехав из Серёжи, мужики заметили, как над селом Мотовиловым, распласталась синяя дождливая туча. Угрожающе и трескуче, колыша землю, гулко раздавались раскаты грома. Издали было видно, как в селе хлещет дождь. В село въехали, когда уже дружный ливень совсем перестал. Не успели подъехать к воротам, а Сергунька Федотов встречая отца с Санькой докладывал:

– Тятк, а у нас во время дождя лукавый в трубу от грома прятаться залез, метнулся, а божья-то стрела тут его и настигла, вон гляди трубу-то немножко поразрушило, и сажу по всей избе понасыпало, зато стрелой лукавого поразило! – отец с тревогой посмотрел вверх на полуразрушенную трубу.

– Дело бают, что Господь, преследуя лукавого говорит: «не пощажу раба, а тебя уничтожу!» с чувством набожности проговорил Иван.

– Сергуньк, распряги-ка лошадь, а то я что-то сегодня изустал, и еле доплёлся.

– Я тять, не умею, вон Санька.

– Ах, ты неслух, бездельник. Ешметвою мать! – отругал Серёгу отец.

На обложке использована фотоматериал Шмелевой Алек-

сандры Александровны